

Über die Todesstrafe

von

Wladimir G. Korolenko

▲▲▲▲▲

Цѣна 1 м. 50 пф.

Preis 1.50 Mark

Вл. Короленко

Бытовое явленіе ≈

(Замѣтки публициста о смертной казни)

Съ письмомъ Л. Н. Толстого, вмѣсто предисловія.

**BERLIN
J. LADYSCHNIKOW
VERLAG**

М. Горькій:

Городокъ Окуровъ. Хроника Цѣна 3 м.

Лѣто. Повѣсть „ 3 м.

Матвѣй Кожемякинъ. Повѣсть „ 2 м. 50 пф.

Романтикъ. Разсказъ „ 60 пф.

Мать. Повѣсть изъ жизни рабочихъ. Новое, единственно полное изданіе „ 4 м.

Шоломъ Алейхемъ:

Избранные рассказы. („Записки одного мальчика“ и др.) Цѣна 3 м.

Арвидъ Ернефельтъ:

Титъ. (Разрушитель Іерусалима.) Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ Цѣна 2 м.

Леонидъ Андреевъ:

Анфиса. Драма Цѣна 1 м. 50 пф.

Анатэма. Драма „ 2 м.

Ген.-адъют. Куропаткинъ:

Записки о русско-японской войнѣ. Второе изданіе . . . Цѣна 8 м.

Über die Todesstrafe
von W. Korolenko

Вл. Короленко

Бытовое явленіе

(Замѣтки публициста о смертной казни)

Съ письмомъ Л. Н. Толстого, вмѣсто предисловія.

BERLIN

Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow

DRUCK DER SPAMERSCHEN BUCHDRUCKEREI IN LEIPZIG

Письмо Л. Н. Толстого.

(Вмѣсто предисловія.)

«Владиміръ Галактіоновичъ! Сейчасъ прослушалъ вашу статью о смертной казни и всячески во время чтенія старался, но не могъ удержать не слезы, а рыданія. Не нахожу словъ, чтобы выразить вамъ мою благодарность и любовь за эту и по выраженію, и по мысли, а главное по чувству—превосходную статью.

«Ее надо перепечатать и распространять въ милліонахъ экземпляровъ. Никакія думскія рѣчи, никакіе трактаты, никакія драмы, романы не произведутъ одной тысячной того благотворнаго дѣйствія, какое должна произвести эта статья.

«Она должна произвести это дѣйствіе потому, что вызываетъ такое чувство состраданія къ тому, что переживали и переживаютъ эти жертвы людского безумія, что невольно прощаешь имъ, какія бы ни были ихъ дѣла, и никакъ не можешь, какъ ни хочется этого, простить виновниковъ этихъ ужасовъ. Рядомъ съ этимъ чувствомъ вызываетъ ваша статья еще и недоумѣніе передъ самоувѣренной слѣпотой людей, совершающихъ эти жестокія дѣла, передъ безцѣльностью ихъ, такъ какъ явно, что всѣ эти глупо-

жестокія дѣла производить, какъ вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цѣли дѣйствіе. Кромѣ всѣхъ этихъ чувствъ, статья ваша не можетъ не вызывать и еще другого чувства, которое я испытываю въ высшей степени,—чувство жалости не къ однимъ убитымъ, а еще и къ тѣмъ обманутымъ, простымъ, развращаемымъ людямъ: сторожамъ, тюремщикамъ, палачамъ, солдатамъ, которые совершаютъ эти ужасы, не понимая того, что дѣлаютъ.

«Радуетъ одно то, что такая статья, какъ ваша, объединяетъ многихъ и многихъ живыхъ, не развращенныхъ людей однимъ общимъ всѣмъ идеаломъ добра и правды, который, что бы ни дѣлали враги его, разгорается все ярче и ярче.

Левъ Толстой.»

27 марта 1910 г.

Ясная Поляна.

I.

12 мая 1906 года.

Ни одно изъ засѣданій всѣхъ трехъ Государственныхъ Думъ не оставило во мнѣ такого глубокаго впечатлѣнія, какъ засѣданіе 12 мая 1906 года.

Прошло полгода со дня знаменитаго манифеста. Назади осталась ужасная война, Цусима, московское возстаніе, кровавый вихрь карательныхъ экспедицій. 27 апрѣля открылась первая Государственная Дума, она должна была отмѣтить грань русской жизни, стать въ качествѣ посредника между ея прошлымъ и будущимъ. Въ отвѣтномъ адресѣ на тронную рѣчь Дума почти единогласно высказалась противъ смертной казни.

Это было послѣдовательно. Кромѣ общей доктрины, тутъ было реальное требованіе, полное пракческаго значенія. Во всеподаннѣйшемъ докладѣ гр. Витте, приложенномъ къ манифесту, признавалось открыто и ясно, что безпорядки, потрясавшіе въ это время Россію, «не могутъ быть объяснены ни *частичными* несовершенствами существующаго строя, ни одной только организованной дѣятельностью крайнихъ партій». «Корни этихъ волненій,—говорилъ глава обновляемаго правительства,—лежать,

несомнѣнно, глубже». И именно въ томъ, что «Россія пережила формы существующаго строя» и «стремится къ строго правовому на основѣ гражданской свободы». «Положеніе дѣла,—говорилось далѣе въ той же запискѣ,—требуетъ отъ власти пріемовъ, свидѣтельствующихъ объ искренности и прямоствѣ ея намѣреній». На докладѣ, въ которомъ были эти слова, государь императоръ написалъ: «Принять къ руководству всеподданный докладъ ст.-секретаря С. Ю. Витте».

Такова была компетентная оцѣнка положенія, среди котораго созывалась первая Дума. Историческій строй, признанный свыше отсталымъ и неудовлетворяющимъ назрѣвшимъ потребностямъ современной русской жизни,—открыто бралъ на себя свою долю отвѣтственности за волненія и смуту, охватившія Россію. «Ни организованныя партіи», ни общество не были повинны въ политической отсталости Россіи. Вина въ этомъ падала на единственныхъ ея хозяевъ и безконтрольных распорядителей. Дума сдѣлала изъ этого выводъ: оставьте же старые пріемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будетъ доказательство той искренности, прямоствы намѣреній, о которыхъ вы говорите въ приложеніи къ манифесту.

Казалось, историческая власть стоитъ въ раздуміи передъ новой задачей. «Съ 27 апрѣля,—говорилъ въ одной изъ своихъ рѣчей депутатъ Караваевъ,—ни одинъ смертный приговоръ не получилъ утвержденія. Напротивъ, постоянно приходилось читать, что при-

говоръ смягченъ, и наказаніе замѣнено другимъ» . . .¹⁾ Въ теченіе двухъ недѣль висѣлица бездѣйствовала, палачи на всемъ пространствѣ Россіи отдыхали отъ своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россія встрѣчалась съ Россіей будущей, и обѣ измѣряли другъ друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.

12 мая получилось извѣстіе, что висѣлица опять принимается за свою работу. Раздуміе кончилось.

Въ Думѣ происходило обсужденіе кадетскаго законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали съ разныхъ сторонъ: для однихъ онъ былъ почти утопиченъ, для другихъ—слишкомъ умѣренъ. Теперь едва-ли можно сомнѣваться, что, будь онъ дѣйствительно осуществленъ хоть въ значительной части,—Россія вздохнула-бы, точно послѣ мучительнаго кошмара. Весь вопросъ состоялъ въ томъ,—можетъ-ли Дума осуществить что-бы то ни было, или всѣ ея пожеланія останутся красивыми отвлеченностями. Призвана-ли она для реальной работы, или ей суждено представить изъ себя законодательную фабрику на всемъ ходу, съ вертящимися маховиками и валами, но только безъ приводныхъ ремней къ реальной жизни.

Случай для отвѣта на этотъ вопросъ скоро представлялся, и при томъ въ самой трагической формѣ. Обсужденіе законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спѣшнымъ запросомъ тру-

¹⁾ Стенографич. отчетъ о засѣданіи Госуд. Думы 18 мая 1906.

довиковъ: извѣстно-ли главѣ министерства, что въ Ригѣ готовится сразу восемь смертныхъ казней.

Еще 11 декабря 1905 года, въ разгаръ передѣдумскихъ беспорядковъ, возстаній, усмиреній и карательныхъ экспедицій, въ Ригѣ былъ убитъ приставъ Поржицкій. Какъ извѣстно, въ Остзейскомъ краѣ вообще, въ Ригѣ въ частности, кризисъ, вызванный переломомъ застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно рѣзко. Съ одной стороны,—убійства сыщиковъ и агентовъ власти, съ другой—ужасающія газетныя извѣстія о пыточныхъ застѣнкахъ и пріемахъ полицейскихъ репрессій. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-бы то ни было, нужно было внимательное отношеніе къ двустороннимъ проявленіямъ общей вины и общей отвѣтственности. Искренность, о которой говорилъ С. Ю. Витте, несомнѣнно, требовала передачи дѣла общему суду при обоюдныхъ гарантіяхъ. При томъ-же этого требовалъ и формальный законъ.

Убійство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана замѣнена военнымъ положеніемъ 24 декабря. Преданіе суду состоялось 15 апрѣля. Случилось такъ, что *формально* былъ промежутокъ, когда въ Ригѣ перестала дѣйствовать усиленная охрана, а военное положеніе еще не вошло въ силу. Поэтому военный генераль-губернаторъ, при изъятіи дѣла изъ общей подсудности, вынужденъ былъ мотивировать это «усиленной охраной», которой въ то время уже не было. Это было незаконно, и главный военный судъ уже кассировалъ такой же приговоръ по дѣлу

Югансона и Зегала, признавъ общую подсудность, и передалъ дѣло гражданскому суду.

Еще недавно министръ юстиціи на обращеніе депутатовъ по поводу казней забронировался *формальной* законностью: пока смертная казнь узаконена, она дѣйствуетъ въ законномъ порядкѣ. Теперь такой же формальный законъ защищалъ восемь жизней. Стоило только примѣнить его, и восемь рижскихъ висѣлицъ остались бы пустыми. Дѣло было бы рассмотрѣно общимъ судомъ, не знающимъ смертной казни.

Тѣмъ не менѣе, разъ уже признанный незаконнымъ военный судъ состоялся и вынесъ 8 смертныхъ приговоровъ. Защитники подали кассационныя жалобы, благопріятный исходъ которыхъ не возбуждалъ сомнѣній. Тогда генераль-губернаторъ *собственной властью не далъ хода кассации.*

Общее значеніе этого эпизода было совершенно ясно. Раздуміе кончалось. Исполнительная власть отстраняла судъ на общихъ основаніяхъ, и даже на мѣсто военно-судныхъ гарантій выдвигала личное усмотрѣніе рижскаго администратора. Иначе сказать: администрація опять выступала судьей въ собственномъ дѣлѣ, и на основаніи этого суда, глубоко чуждаго самому духу новыхъ учрежденій, уже готовила казни.

На этой «легальной» почвѣ, около этихъ восьми жизней закипѣла безкровная, но полная глубокаго драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены въ ходъ заявленія,

ходатайства, просьбы. Апеллировали къ челоуѣколюбію, къ великодушію, къ справедливости, къ простой формальной законности. Защита подала жалобу въ сенатъ на пріостановку непререкаемо-правильной кассаци и въ то-же время обратилась съ ходатайствомъ на высочайшее имя. Думѣ въ цѣломъ оставалось только принять запросъ. Шестидеять шесть ея членовъ подписали отдѣльное личное ходатайство . . .

12 мая я сидѣлъ въ ложѣ журналистовъ и запомнилъ навсегда сумеречный часъ этого дня, представленіе запроса, рѣчи депутатовъ, смущенныя, полныя предчувствій. Среди водворявшейся временами глубокой тишины какъ будто чуялось вѣяніе смерти и невидимый полетъ рѣшающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопросъ состоялъ въ томъ, въ какую сторону двинется съ нея русская политическая жизнь, куда перемѣстится центръ ея тяжести. Впередъ, къ новымъ началамъ гуманности и обновленія, или назадъ, къ старому произволу и подавленію общественныхъ силъ, стремящихся «къ правовому строю на началахъ гражданской свободы» . . .

Къ трибунѣ подошелъ Кузьминъ-Караваевъ. Рѣчь его была простая, короткая, безъ громкихъ словъ. Раздалось нѣсколько нерѣшительныхъ рукоплесканій и тотчасъ смолкли. Предсѣдатель поставилъ на баллотировку предложеніе: препроводить запросъ къ предсѣдателю совѣта министровъ немедленно, безъ соблюденія обычныхъ формальностей, съ ука-

заніємъ на необходимость пріостановки исполненія приговора до рѣшенія вопроса о кассациі, до отвѣта на ходатайство . . .

— Кто возражаетъ противъ предложенія,—говорить предсѣдатель,—прошу встать.

Не поднялся никто.

Въ первой Думѣ тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался въ этомъ смыслѣ екатеринославскій депутатъ Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынѣшнихъ «правыхъ», требующихъ висѣлицъ даже для своихъ думскихъ противниковъ. Рѣшеніе принято единогласно. Кто не хотѣлъ видѣть въ этомъ простой справедливости,—тѣ чувствовали все таки святость милосердія и останавливались передъ ужасомъ восьми казней . . .

И помню, что тотчасъ по объявленіи этого постановленія, когда Дума перешла опять къ законопроекту «о неприкосновенности», зажгли электричество. Свѣтъ залилъ весь думскій залъ, предсѣдательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедрѣ, амфитеатръ думскихъ скамей съ фигурами депутатовъ . . . И у меня было такое ощущеніе, какъ будто тутъ въ залѣ есть еще что-то, невидимое, но жутко—ощутительное, почти мистическое. Можетъ быть, это была неувѣренность въ спасеніи восьми жизней, а за ней неувѣренность и во многомъ другомъ, что роковымъ образомъ сплелось съ судьбой этихъ безвѣстныхъ восьми людей въ Ригѣ . . . Дума сдѣлала все, что могла. Но она не сдѣлала ничего,—

кажется, такъ слѣдуетъ истолковать это странное ощущеніе. Здѣсь могутъ только негодовать, надѣяться, скорбѣть и высказывать пожеланія. А тамъ могутъ казнить . . .

Прошло шесть дней. 18-го мая на трибуну вошелъ докладчикъ Набоковъ, чтобы сообщить отвѣтъ предсѣдателя совѣта министровъ на думскій запросъ. Отвѣтъ былъ кратокъ и формаленъ. Сущность его, впрочемъ, была уже извѣстна изъ газетъ: рижскій генераль-губернаторъ не пожелалъ ожидать исхода жалобъ на рѣшеніе завѣдомо незаконнаго суда и распорядился спѣшно казнить всѣхъ восемь приговоренныхъ . . .

Смыслъ этого сообщенія былъ ощутительно ясенъ: на соображенія о законности отвѣчали заявленіемъ о силѣ. Въ Думѣ полились рѣчи, полныя негодованія и горечи. «Въ отвѣтъ на нашъ запросъ,—сказалъ депутатъ Ледницкій,—намъ кинули восемь труповъ». «Нѣкоторые изъ нихъ малолѣтніе»,—прибавляетъ депутатъ Локоть. Кузьминъ-Караваевъ оглашаетъ звучащую горькой ироніей телеграмму Леруа-Болье. Просвѣщенный французъ, знатокъ и другъ Россіи, поздравляетъ Думу съ предстоящей отмѣной смертной казни. «Этимъ русскій парламентъ совершитъ актъ милосердія и ускоритъ прогрессивное развитіе человѣчества». Депутатъ Родичевъ еще пытается протестовать противъ «маловѣрія», которое темной волной хлынуло въ Таврическій дворецъ отъ этой мрачной генераль-губернаторской демонстраціи. «Вы напишете законъ объ отмѣнѣ смертной казни,—

утѣшаетъ онъ депутатовъ,—его утверждать, его не могутъ не утвердить. Неужели вы сомнѣваетесь, что смертная казнь уже корчится въ предсмертныхъ судорогахъ» . . .

Увы!—самые оптимистическіе каламбуры безсильны передъ фактомъ. А фактъ состоялъ въ томъ, что противъ потока превосходныхъ словъ и проектовъ рижскій генераль-губернаторъ, разумѣется, въ полномъ согласіи съ правительствомъ, выдвинулъ восемь висѣлицъ. Это было такъ убѣдительно, что черезъ десять дней въ той же думской залѣ тотъ же депутатъ Родичевъ говорилъ съ горькимъ уныніемъ: «Если мы и признаемъ обсуждаемую статью (объ отмѣнѣ смертной казни) за законъ,—въ чемъ-же измѣнится положеніе дѣла? Вы убѣждены, что этотъ параграфъ станетъ закономъ и казни прекратятся? . . Но, господа, каждый изъ насъ понимаетъ, что это не такъ» . . .

И, дѣйствительно, это оказалось не такъ. Кто теперь вспоминаетъ на Руси, что въ засѣданіи 19 іюня 1906 года въ первую Государственную Думу внесенъ законопроектъ, состоявшій изъ двухъ статей:

Статья первая: Смертная казнь отмѣняется.

Статья вторая: Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ дѣйствующими законами установлена смертная казнь,—она замѣняется непосредственно слѣдующимъ по тяжести наказаніемъ . . .

И что этотъ законопроектъ Государственной Думой принять . . . И что онъ облеченъ въ форму закона . . . Новый законъ унесенъ потокомъ событій,

смывшихъ первую Думу, а фактъ остался. Висѣлица опять принялась за работу и еще никогда, быть можетъ со времени Грознаго, Россія не видала такого количества смертныхъ казней. До своего «обновленія» старая Россія знала хроническія голодовки и повальныя болѣзни. Теперь къ этимъ привычнымъ явленіямъ наша своеобразная конституція прибавила новое. Среди обычныхъ рубрикъ смертности (отъ голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести мѣсто новой графѣ: «отъ висѣлицы». Почти ежедневно въ предъутренніе часы, когда надъ огромною страной царитъ крѣпкій сонъ,—гдѣ нибудь по тюремнымъ коридорамъ зловѣще стучать шаги, кого нибудь поднимаютъ отъ кошмарнаго забытья и ведутъ, здороваго и полного силъ, къ готовой могилѣ . . .

Да, какъ не признать, что русская исторія идетъ своими собственными, самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свѣтѣ введеніе конституціи сопровождалось хотя бы временными облегченіями: амнистіями, смягченіемъ репрессій. Только у насъ вмѣстѣ съ конституціей вошла смертная казнь, какъ хозяйка въ домъ, русскаго правосудія. Вошла и расположилась прочно, надолго, какъ настоящее бытовое явленіе, затяжное, повальное, хроническое . . . къ которому, значить, «нужно привыкать» . . .

Въ послѣдующихъ очеркахъ, далеко не систематическихъ и не претендующихъ на исчерпывающее значеніе, мы постараемся присмотрѣться къ этому новому бытовому явленію . . . Нужно же хоть

знать то, отъ чего пока (и, можетъ быть, надолго) нѣтъ силы избавиться . . .

II.

Смертники въ N-ской тюрьмѣ.

До сихъ поръ быть русскихъ тюремъ знать опредѣленные категоріи заключенныхъ. Это были «высидочные», отбывавшіе срочное заключеніе по суду, подслѣдственные, пересыльные и каторжане.

Наше «обновленіе» дало еще новую категорію, которой тюремный жаргонъ присвоилъ зловѣщее названіе: смертники.

Интеллигентный человѣкъ, закинутый превратной судьбой въ одну изъ провинціальныхъ тюремъ (называть которую онъ не желаетъ), имѣлъ случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быть этихъ людей, ждущихъ въ заключеніи смертнаго приговора, конфирмаціи, казни. Матеріалъ, добытый такимъ образомъ изъ случайныхъ встрѣчъ, разговоровъ урывками и секретно пересылавшихся писемъ — онъ предоставилъ въ наше распоряженіе, и я хочу познакомить съ нимъ читателя.

Губернская тюрьма провинціального города. Архитектура обыкновенная. По угламъ главнаго корпуса четыре башни. Ходъ въ каждую башню изъ тюремныхъ коридоровъ, на которые смотрятъ въ два ряда молчаливые «глазки» камеръ. Въ концѣ коридора крѣпко запертая дверь, ключъ отъ которой хранится у особыхъ надзирателей. Одинъ изъ нихъ

постоянно караулить входъ въ башню. За этимъ входомъ небольшой темный коридоръ, ведущій еще къ одной двери. За нею круглая башенная камера.

Камера представляетъ цилиндръ аршинъ трехъ или четырехъ въ діаметрѣ. Вверху — небольшое окно, забранное двумя рѣшетками. Рѣшетки скрадываютъ свѣтъ, а зимой, когда вставляются двойныя рамы, въ камерѣ становится такъ темно, что даже днемъ читать или писать невозможно. Вечеромъ вспыхиваетъ электрическая лампочка, подвѣшенная къ потолку. Она подвѣшена высоко и, даже стоя подъ нею,—читать можно лишь съ большимъ напряженіемъ. Ни коекъ, ни наръ въ камерѣ нѣтъ. Маленькій столикъ и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стѣны вверху блѣдно-сѣрыя. Внизу аршина на два отъ пола идетъ траурная черная полоса.

Камеры верхняго этажа каждой башни лучше. Онѣ суше, свѣтлѣе; изъ оконъ можно видѣть городъ, площадь за тюрьмой, проходящихъ по площади людей. Нижнія камеры врыты глубоко въ землю, такъ что ихъ полукруглыя окна помѣщаются на уровнѣ тюремнаго двора. Люди тутъ какъ будто опущены въ колодезь, траурно темный, холодный и сырой. Изъ оконъ они могутъ видѣть ноги гуляющихъ по двору арестантовъ. Противъ каждой башни стоитъ надзиратель съ ружьемъ.

Въ томъ году, къ которому относятся наблюденія нашего случайнаго корреспондента, ихъ перебывало свыше сорока. Это были все, сравнительно, молодые

люди, преимущественно рабочіе мѣстнаго крупнаго желѣзодѣлательнаго завода, осужденные по дѣламъ объ экспропріаціяхъ.

Тюремная администрація употребляетъ все усилія, чтобы изолировать ихъ отъ остальныхъ заключенныхъ. Для прогулки смертниковъ отведено особое мѣсто. Въ баню ихъ тоже водятъ отдѣльно. Но, разумѣется, полная изоляція невозможна. На допросы, въ судъ, на прогулку или на свиданія ихъ проводятъ все-таки общими коридорами, и арестанты смотрятъ въ глазки на этихъ обреченныхъ, уже отмѣченныхъ печатью смерти, людей. Тѣми же коридорами ведутъ ихъ въ темные предутренніе часы на казнь, и тогда спящіе въ камерахъ арестанты тревожно вскакиваютъ, слушая гулкіе шаги, порой стоны и предсмертные крики человѣка, прощающагося, такимъ образомъ, съ доступнымъ ему и сочувствующимъ арестантскимъ міромъ. Потомъ шаги и жалобные крики смолкаютъ. Въ глубокой тишинѣ на заднемъ дворѣ совершается послѣднее дѣйствіе страшной трагедіи . . . Въ камерахъ не спятъ и гадаютъ, кого это, здороваго и полнаго силъ, повели только что къ открытой могилѣ . . .

Порой въ часы прогулокъ гуляющіе арестанты слышатъ откуда-то, точно изъ подъ земли, голоса, громко разговаривающіе или спорящіе. Порой, особенно въ первой половинѣ того года, къ которому относится нашъ матеріалъ, изъ «смертныхъ» камеръ раздавалось пѣніе. Тогда стоящій у башни караульный начиналъ волноваться, стучалъ ружьемъ и кричалъ:

— Башня, перестань пѣть! Башня! Тебѣ говорятъ: перестань!

Если это заключеніе не дѣйствовало, на сцену являлся помощникъ начальника и кого-нибудь изъ людей, ждущихъ казни, вдобавокъ сажали въ карцеръ . . .

Карцеръ—темная коробка, помѣщающаяся прямо подъ тюремною церковью, низкая, сырая, холодная, съ отвратительнымъ воздухомъ. Многихъ послѣ трехъ-четырехъ дней заключенія изъ карцера выносили на рогожахъ прямо въ больницу.

Въ этихъ башняхъ порой въ одиночку, иногда группами по нѣскольку человѣкъ люди ждутъ приговоровъ или ихъ исполненія дни, недѣли, иногда мѣсяцы, каждый вечеръ спрашивая себя, увидятъ ли они завтрашнее утро. Въ прежнее, еще недавнее, «доконституціонное» время одинъ военный судья говорилъ мнѣ, что продолжительная отсрочка казни являлась огромнымъ шансомъ за ея отмѣну: нельзя казнить человѣка, пережившаго такой продолжительный ужасъ, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями, повидимому, не стѣсняются . . .

III.

«Будни смертниковъ».

Всѣмъ еще памятно то одушевленіе, съ которымъ шли на смерть приговоренные къ казни или разстрѣливаемые безъ суда въ первомъ періодѣ нашей

«революціи». Такъ умирали интеллигентные люди, молодые дѣвушки, желѣзно-дорожные рабочіе, матросы. Группа матросовъ, возставшихъ вмѣстѣ съ лейтенантомъ Шмитомъ, шла на казнь дружнымъ строемъ и пѣла извѣстную народную рекрутскую пѣсню:

Послѣдній радостный денечекъ
Гуляю съ вами я, друзья!
А завтра рано чуть свѣточекъ
Заплачетъ вся моя семья . . .

Въ этомъ зрѣлищѣ было столько одушевленія и вѣры въ значеніе жизни передъ лицомъ неизбежной смерти, что, говорятъ, эта пѣсня на югѣ приобрѣла значеніе марсельезы.

Теперь многое измѣнилось, и по мѣрѣ того, какъ смертная казнь превратилась въ будничное бытовое явленіе—отъ нея удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевленіе. Должно быть, труднѣе умирать за то, за что люди такъ часто умираютъ въ наше время.

Впрочемъ, нашъ корреспондентъ отмѣчаетъ, что въ первые дни послѣ приговора многіе «смертники» чувствуютъ себя сравнительно бодро. Въ свои мрачныя башенныя камеры они вносятъ еще возбужденіе недавней борьбы, полной если не возвышенныхъ, то сильныхъ ощущеній и крайняго напряженія нервовъ. Судъ и приговоръ—только послѣдній размахъ той-же волны. Въ большинствѣ писемъ, относящихся къ первымъ днямъ послѣ приговора, звучитъ еще своеобразная бодрость, даже иронія.

Иныя изъ этихъ писемъ чрезвычайно характерны, и мы приведемъ ихъ въ тѣхъ отрывкахъ, какіе даетъ намъ нашъ корреспондентъ.

«Я напишу вамъ,—такъ начинается одно письмо,—но предупреждаю, что я человѣкъ малограмотный, неразвитой и малоначитанный. *Я чувствую себя очень хорошо*¹⁾. Смерть для меня ничто. Я зналъ, что это рано или поздно, но должно быть. Я былъ увѣренъ на волѣ, что меня повѣсятъ или застрѣлятъ гдѣ-нибудь на дѣлѣ. Такъ вотъ, товарищъ, можетъ ли мнѣ казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, какъ другіе, но до суда и послѣ суда я былъ въ одномъ настроеніи. Только обидно: со мной приговорили одного невиновнаго. Я въ судѣ не утерпѣлъ и крикнулъ судьямъ²⁾ . . . За это мнѣ попало отъ «сознательнаго конвоя» . . .

Еще черезъ нѣкоторое время, тотъ-же авторъ писалъ: «Вы спрашиваете, какъ я провожу время. Определить трудно. Я самъ себя не могу учесть въ этомъ случаѣ. Одно могу сказать, *что душевно я спокоенъ*. Очень даже спокоенъ. Наружный видъ, можно сказать, веселый. Съ утра до ночи смѣялся, рассказывалъ различные анекдоты, конечно, юмористическіе. Конечно, вопросъ о жизни приходитъ иногда въ голову. Задумаешься на нѣсколько минутъ и стараешься забыть это все, потому что все уже кончено для меня на сей землѣ. А разъ кончено, то такія мысли стараешься отогнать и не поднимать

1) Курсивъ нашъ.

2) Многоточіе въ присланной намъ рукописи.

въ своей головѣ. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и въ такія короткія минуты ничего не могу разрѣшить. Чѣмъ понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и послѣднее время провести веселѣе. Я самъ себя не могу опредѣлить: я какъ будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мнѣ этого захочется. Ужъ очень не хочется идти помирать на задній дворъ, да еще въ сырую погоду, въ дождикъ. Пока дойдешь, всего измочить. А мокрому и висѣть не особенно удобно. Да еще и то: берутъ ночью. Только разоспишься, а тутъ будятъ, тревожатъ . . . Лучше бы отравиться» . . .

Читатель видитъ, что здѣсь у человѣка еще хватаетъ настроенія для какого-то жуткаго юмора надъ своей страшной судьбой . . . «Измокнешь, а мокрому и висѣть неудобно . . . Только что разоспишься,—тревожатъ» . . . «Чувствую себя ничего, —пишетъ другой приговоренный.—Даже удивленъ, что въ душѣ не сдѣлалось никакого переворота. Точно ничего не случилось» . . . Повидимому, жизнь обладаетъ своей инерціей движенія, и человѣкъ еще органически не можетъ себѣ представить, что она скоро оборвется безъ внутреннихъ, органическихъ причинъ. Онъ знаетъ о приговорѣ, но еще не можетъ его почувствовать . . .

Поддержать въ себѣ возможно дольше, до самой смерти это настроеніе продолжающейся жизни, не дать ужасной истинѣ пустить въ душу отравляющіе ростки,—такова теперь задача, къ которой приспособ-

соблюдается весь бытъ своеобразнаго общества, населяющаго мрачныя камеры. «Забыть и дать забыть другимъ»,—это какъ будто правило его соціальной нравственности.

«Спать ложимся мы въ три часа ночи,—пишетъ одинъ приговоренный.—Это постоянно. Р. научилъ насъ играть въ преферансъ, и мы до того имъ увлеклись, что играемъ, какъ будто бы за интересъ. Увлеклись сильно. Тутъ есть и сожалѣнія отъ проигрыша, и маленькія радости отъ выигрыша. *Упадка духа ни въ комъ какъ будто и не замѣчается.* Если посмотрѣть со стороны и не знать, что мы приговорены къ смерти, то можно счесть насъ просто за людей, отбывающихъ наказаніе. Если же наблюдать насъ, зная, что насъ ждетъ смерть, то, вѣроятно, можно подумать, что мы ненормальны. Дѣйствительно, и самому приходится удивляться тому, что мы такъ хладнокровны. По одной фразѣ вашей я замѣтилъ, что предполагается у насъ тяжелое настроеніе духа. Представьте себѣ, что нѣтъ. Даже напротивъ: бываетъ неестественно веселое настроеніе. *Часто смѣхъ, шутки, пльси и рассказы не сходятъ у насъ съ устъ.* О томъ, что ждетъ насъ, буквально забываешь. Это, по моему мнѣнію, происходитъ отъ того, что сидишь не одинъ . . . Чуть кто пригорюнится, такъ другой старается, можетъ быть ненамѣренно, оторвать его отъ тяжелыхъ мыслей и вовлечь въ разговоръ или во что нибудь другое . . . Находятъ минуты какой то безпричинной злобы, хочется кому-нибудь сдѣлать зло, какую нибудь пакость. Насколько я наблюдалъ,

если такому человѣку поволноваться и вылить свою злобу въ руготнѣ, то онъ понемногу успокоится. На нѣкоторыхъ въ такіе моменты дѣйствуетъ пѣніе. Затяни что нибудь,—онъ поддержитъ.»

Въ такія-то минуты изъ наглухо закрытыхъ башенъ несутся звуки пѣсенъ, и стража во дворѣ начинаетъ, какъ мы видѣли, тревожиться, стучать ружьями и кричать: «башня, тебѣ говорятъ, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую пѣсню, конечно, не легко . . .

«Теперешнее мое состояніе удовлетворительно,— читаемъ мы еще въ одномъ письмѣ «изъ башни»,— только въ головѣ какой-то хаосъ. Хотѣлось-бы на день, на два остаться одному съ самимъ собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость. Къ тому, что скоро придется умирать, отношусь не то, чтобы хладнокровно, но все таки эта мысль не смущаетъ меня: *я не вдумываюсь въ нее*. Чѣмъ объяснить это,—я не знаю!»

Автору этого письма хотѣлось-бы остаться одному; но именно одиночество въ этомъ положеніи ужасно. «Какъ начинаетъ лѣзть что нибудь въ голову,— пишеть, касаясь того-же вопроса, другой «смертникъ»,—такъ я тотчасъ-же отвлекаю себя разговорами съ товарищами, лишь-бы только это удалить. А то, какъ только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мнѣ кажется, что, если бы я . . . сидѣлъ одинъ, то давнымъ давно покончилъ бы съ собою.»

По мѣрѣ того, какъ идетъ время, спокойствіе тоже уходитъ. «Жизнь приходится считать минутами,

она коротка,—пишетъ одинъ изъ приговоренныхъ, повидимому, проводящій послѣдніе дни въ одиночествѣ.—Сейчасъ пишу эту записку и боюсь, что вотъ-вотъ растворятся двери, и я ее не dokonчу. Какъ скверно я чувствую себя въ этой злобѣщей тишинѣ! Чуть слышный шорохъ заставляетъ тревожно биться мое сердце . . . Скрипнетъ дверь . . . Но это внизу. И я снова начинаю писать. Въ коридорѣ слышались шаги, и я бѣгу къ дверямъ. Нѣтъ, снова напрасная тревога: это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давить меня. Мнѣ душно. Моя голова налита, какъ свинцомъ, и безсильно падаетъ на подушку. А записку все таки окончить надо. О чемъ я хотѣлъ писать тебѣ? Да, о жизни! Неправда-ли, смѣшно говорить о ней, когда тутъ, рядомъ съ тобой смерть. Да, она недалеко отъ меня. Я чувствую на себѣ ея холодное дыханіе, ея страшный призракъ неотступно стоитъ въ моихъ глазахъ . . . Встанешь утромъ и, какъ ребенокъ, радуешься тому, что ты еще живъ, что еще цѣлый день предстоитъ наслаждаться жизнью. Но за то ночь! Сколько она приноситъ мученій,—трудно передать . . . Ну, пора кончить: около двухъ часовъ ночи. Можно заснуть и быть спокойнымъ: за мной уже сегодня не придутъ.»

«Я давно не писалъ вамъ,—говорится въ новомъ письмѣ (другого лица).—Все фантазировалъ, но ничего не могъ сообразить своимъ больнымъ мозгомъ. Я въ настоящее время нахожусь въ полномъ невѣдѣніи, и это страшно мучаетъ меня. Я приговоренъ

вотъ уже два мѣсяца, и вотъ все не вѣшаютъ. Зачѣмъ берегутъ меня? Можетъ быть, издѣваются надо мной? Можетъ быть, хотятъ, чтобы я мучился каждую ночь въ ожиданіи смерти? Да, товарищъ, я не нахожу слова, я не въ силахъ передать на бумагѣ, какъ я мучаюсь ночами! Что нибудь—скорѣй-бы!»

Это писалъ тотъ самый человѣкъ, который вначалѣ удивлялся, что приговоръ не произвелъ на него впечатлѣнія, и говорилъ, что смерть его нисколько не пугаетъ . . . Два его письма это—два полюса въ настроеніи смертниковъ: вначалѣ возбужденіе и бодрость. Потомъ возрастающій ужасъ передъ развязкой, тупой и безмолвный.

IV.

Иллюзіи и самоубійство.

Впрочемъ, въ промежуткахъ часто является мечта и надежда. «У каждаго,—говоритъ одинъ изъ авторовъ писемъ,—есть какая-нибудь надежда, и у каждаго фантазія доходитъ до геркулесовыхъ столбовъ. Хотя мы и знаемъ, что каждаго изъ нашихъ товарищей берутъ и вѣшаютъ, но все-таки (собственная) предстоящая казнь кажется невѣроятной. Кажется невѣроятнымъ: какъ это меня, здороваго, полного силъ человѣка, поведутъ и повѣсятъ . . . У каждаго есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Нѣкоторые ждутъ помилованія. Другіе мечтаютъ о подачѣ прошенія на высочайшее имя и думаютъ

какъ-нибудь провести администрацію. Говоримъ иногда объ усыпительныхъ веществахъ. Какъ бы уснуть такъ, чтобы, когда похоронять, то пришли бы товарищи и откопали бы изъ могилы. Мечтали о сдѣлкѣ съ докторомъ во время смертной казни» и т. д.

Но и надежда въ положеніи смертника, какъ гашишъ, обманчива и ядовита. «Я думаю,—пишетъ одинъ изъ нихъ,—что для насъ вредны мечты въ большомъ размѣрѣ, такъ какъ черезчуръ тяжки разочарованія. Для примѣра приведу Х—ва. Онъ выполнѣ былъ увѣренъ, что ему отмѣнить смертный приговоръ, такъ какъ объ этомъ хлопоталъ (ходатайствовалъ?) самъ судъ, да и дядя его имѣлъ большія связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилованіе, то онъ повѣрилъ этому и съ радостью пошелъ въ контору. Что же ему пришлось пережить, когда вмѣсто помилованія его потащили на висѣлицу . . . Мнѣ могутъ сказать, что все это неважно, такъ какъ страданій здѣсь всего вѣдь на часъ, да и то, быть можетъ, меньше. Но я не хочу мѣсяца иллюзій, чтобы пережить и часъ такихъ страданій. Лучше я буду внушать себѣ, что мнѣ скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзій, но только я не позволяю мечтѣ вкорениться глубоко. Противъ мечты о волѣ, о томъ, какъ хорошо было бы очутиться въ кругу близкихъ людей, противъ этой мечты я принимаю свои мѣры.

«Теперь приведу другой примѣръ — П—на. У него совершенно не должно было быть никакихъ

надеждъ. Но вотъ, почему-то однихъ берутъ, а его, хотя и вышелъ срокъ, оставляютъ. У него являются надежды. И вотъ онъ, который раньше соглашался умереть съ большими страданіями, чѣмъ отъ доставленнаго ему яда, теперь уже не рѣшается (отравиться) и ждетъ послѣдней минуты. Ядъ онъ принимаетъ только тогда, когда пришли и сказали: «собирайся на висѣлицу». Отъ яда онъ падаетъ безъ чувствъ. Его выносятъ на тюфякъ на свѣжій воздухъ и качаютъ . . . Онъ приходитъ въ себя. Подъ воротами его рветъ. Онъ приходитъ потомъ въ контору, пишетъ письма и идетъ на висѣлицу».

«И такихъ примѣровъ много,—прибавляетъ авторъ письма.—Это все послѣдствія иллюзіи» . . . П—въ ждалъ рѣшенія своей участи безъ двухъ дней пять мѣсяцевъ! И хотя, повидимому, у него были хорошія, благодаря иллюзіямъ, минуты, но въ концѣ концовъ—тройныя мученія . . . Каждый изъ насъ хватается за соломинку, и тогда логика и разумокъ—все летитъ къ чорту.»

Удалось ли въ концѣ концовъ писавшему выше приведенныя строки удержаться въ предѣлахъ «логики и разсудка»—мы не знаемъ. Но тѣ, кто пассивно поддаются иллюзіямъ—легко превращаются въ маниаковъ. «Изъ всѣхъ, приговоренныхъ къ смертной казни,—говорится въ одномъ письмѣ,—такого, какъ NN, я вижу впервые. Онъ хотя и не говоритъ, но, видимо, ему жаль порвать съ жизнью. Онъ все ждетъ помилованія. Прошенія онъ не подавалъ, но подала его мать отъ своего имени. Теперь онъ

постоянно гадаетъ на картахъ, будетъ или не будетъ онъ помилованъ. Онъ отказался покончить съ собой. Если бы я захотѣлъ описать его послѣдніе дни, то едва ли могъ бы многое описать. Жизнь его течетъ чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечеромъ онъ ложится спать часовъ въ шесть, а встаетъ въ два, три, четыре часа. И какъ только встаетъ, такъ берется за карты и начинаетъ гадать. Днемъ иногда ляжетъ полежать и на мой вопросъ: «о чемъ вы думаете?» обыкновенно отвѣчаетъ: «я и самъ не знаю, о чемъ». Почти все время проводитъ онъ за картами и въ какой-то меланхолической мечтѣ. Можетъ быть, онъ мечтаетъ о чемъ-нибудь цѣнномъ, но только не желаетъ съ нами этимъ подѣлиться. Не знаю.»

Авторъ замѣтокъ, которыми мы пользуемся при составленіи этого очерка, пишетъ, что ему удавалось по временамъ видѣть NN, о которомъ идетъ рѣчь въ предыдущемъ письмѣ. «Это еще молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, съ продолговатымъ лицомъ и голубыми, чѣмъ-то затуманенными и какъ будто ничего не видящими глазами. Въ сѣрой, плотно облегавшей его фигуру арестантской курткѣ, шелъ онъ медленно со своимъ провожатымъ на прогулку и устало и равнодушно смотрѣлъ куда-то вдоль длиннаго коридора. Больше всего привлекали вниманіе его смертельно усталые, разсѣянные, ничего не видящіе глаза.» Въ то время, когда авторъ записывалъ въ тюрьмѣ свои впечатлѣнія, ему уже рѣдко приходилось видѣть NN. Говорили, что онъ обѣщалъ властямъ выдать нѣсколько человѣкъ, если ему

дано будетъ помилованіе, и что ему подали надежду на избавленіе отъ казни . . .

Не всё, конечно, отдаются такъ всецѣло во власть безграничныхъ иллюзій. Желанія многихъ приговоренныхъ не идутъ дальше добровольной смерти. Мы уже встрѣчали выше выраженіе этого настроенія: «Умереть, когда захочу самъ». И въ то время, какъ обыкновенное населеніе тюремъ стремится всѣми мѣрами добыть «съ воли» водку, табакъ или карты,—смертники со всевозможными ухищреніями добываютъ ядъ или ножъ.

Газеты отмѣчаютъ то и дѣло случаи самоубійства передъ казнью. Больше всего прибѣгаютъ осужденные къ ціанистому кали, рѣже къ морфію или ножу. «Любопытно—пишетъ авторъ нашихъ матеріаловъ,—что ни одинъ изъ присужденныхъ при попыткахъ къ самоубійству не прибѣгалъ къ помощи шнура или веревки, хотя достать ихъ гораздо легче». Газеты отмѣчали случаи самоповѣшенія¹⁾, но дѣйствительно они рѣже другихъ способовъ самоубійства. Смерть отъ руки палача кажется позорнѣе и страшнѣе. Приговоренные прежде всего предпочитаютъ добровольную смерть, «когда самъ захочу», и, если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначить имъ человѣческій судъ. Въ теченіе того года, къ которому относятся наблюденія нашего корреспондента,—одинъ изъ приговоренныхъ отравился стрихниномъ и кончилъ жизнь въ страш-

¹⁾ Въ томъ числѣ одинъ наканунѣ казни въ Полтавѣ (въ авг. 1909 г.).

ныхъ мученіяхъ. Другой нанесъ себѣ ударъ ножомъ въ сердце. Въ третьемъ случаѣ ударъ ножа не оказался смертельнымъ, четвертый вскрылъ себѣ рану на рукѣ обломкомъ стекла, онъ тоже остался живъ. Было также нѣсколько случаевъ неудачнаго самоотравленія . . .

Эти попытки и самоубійства происходятъ на глазахъ у остального населенія камеры. «Смерть товарища Я—ва, — говорится въ одномъ изъ писемъ, — произвела на меня ужасное впечатлѣніе. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Передъ смертью онъ былъ веселъ, курилъ, разговаривалъ, смѣялся. Волненія не было замѣтно. Потомъ нащупалъ сердце, приложилъ ножъ одной рукой, а другой ударилъ: разъ! два! . . . Потомъ сказалъ: «Вотъ хорошо! Выньте». И началъ хрипѣть, и умеръ, не издавъ ни одного громкаго стона.»

Онъ оставилъ записку: «Кончаю жизнь самоубійствомъ. Вы меня приговорили къ смерти и, быть можетъ, думаете, что я боюсь вашего приговора, нѣтъ! вашъ приговоръ мнѣ не страшенъ. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедія, которую вы намѣрены продѣлать со своимъ формализмомъ. Мнѣ грозитъ смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете въ исполненіе. Я рѣшилъ помереть раньше. Не думайте, что я такой же трусъ, какъ вы.»

Для этого мужественнаго человѣка смерть, очевидно, явилась послѣднимъ актомъ, если не прямой борьбы, то хоть полемики съ врагами.

V.

Послѣднія свиданія.

Два раза въ недѣлю у тюремныхъ воротъ собирается толпа народу и терпѣливо ждетъ, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенныхъ, явившіеся на свиданіе. Двери, наконецъ, отворяются. Ихъ пропускаютъ.

Длинная, узкая и грязная комната съ однимъ окномъ. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками, внизу перегородки деревянные сплошныя, вверху до потолка изъ частой проволочной сѣтки. Между перегородками разстояніе въ два аршина. На этомъ разстояніи арестанты и ихъ родные переглядываются и переговариваются черезъ двѣ сѣтки . . . Такъ какъ говорить приходится всѣмъ вмѣстѣ и общій говоръ заглушаетъ слова, то черезъ нѣсколько минутъ «свидальная комната» переполняется шумомъ и криками. Каждый старается перекричать другихъ и закинуть дорогому человѣку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройныхъ отчаянныхъ выкрикиваній, визгъ женскихъ голосовъ, судорожно напряженныхъ лица и безсильный, никому неслышный плачь подъ звонъ кандаловъ . . . Вотъ старая крестьянка, она притащилась въ городъ за 50 верстъ и теперь судорожно вцѣпилась скрюченными пальцами въ проволочную сѣтку. Она пытается нѣсколько разъ что-то выкрикнуть сыну, но ея старческій голосъ тонетъ въ

этомъ нестройномъ грохотѣ, звонѣ и шумѣ. Она машетъ рукой и уже только смотритъ старыми заплаканными глазами . . . А черезъ пять-семь минутъ свиданіе прекращается. Всѣхъ выгоняють, и на проволочныя рѣшетки пускають *новыя* партіи арестантовъ и пришедшихъ къ нимъ «съ воли». Прежнія уходятъ, унося съ собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотѣлось сказать дорогому человѣку такъ много. Не сказалъ ничего. Казнены уже въ Россіи тысячи человѣкъ. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцовъ и, можетъ быть, столько же сестеръ и братьевъ и женъ смотрѣли черезъ такія рѣшетки на дорогихъ людей, которымъ грозила смерть. Если это были простые рабочіе или крестьяне, то прощаться съ ними, какъ съ умирающими, приходили и другіе родственники, какихъ только допускали. И сколько тяжелаго, незабываемаго и порой непрощаемаго страданія разнесутъ эти простые люди по предмѣстіямъ городовъ и по дальнимъ деревнямъ и селамъ.

Когда приговоръ уже состоялся,—«смертникъ» получаетъ привилегію. Съ него снимають кандалы и на свиданіе къ нему близкихъ родственниковъ допускають въ тюремную контору. И опять по дорогамъ тянутся телѣги, а въ нихъ—матери и отцы, ѣдущіе на послѣднее свиданіе. Военное правосудіе по большей части совершается стремительно и, пока старая мать бредетъ пѣшкомъ или тащится на заморенной клячкѣ,—дѣло часто бываетъ кончено. Тюремный привратникъ дѣловито и безстрастно, какъ русскій

мужикъ вообще умѣетъ говорить о смерти, сообщаетъ, что сынъ повѣшенъ на разсвѣтѣ, въ то время, когда они тащились въ темнотѣ по плохимъ дорогамъ. Недавно,—разсказываетъ нашъ корреспондентъ,—одна изъ такихъ матерей подошла къ тюрьмѣ и стала просить прощальнаго свиданія. Въмѣсто разрѣшенія изъ тюремной конторы ей вынесли клочъ волосъ,—все, что ей осталось отъ сына. Передъ висѣлицей сынъ попросилъ ножницы, отрѣзалъ прядь волосъ и передалъ ихъ для матери. Послѣдняя воля его была добросовѣстно исполнена.

Въ прошломъ году газеты сообщали о случаѣ еще болѣе печальномъ. Приговоренный къ смертной казни въ Балашевѣ Шуримовъ послалъ къ отцу письмо съ просьбой пріѣхать попрощаться передъ смертью. «Элементарная гуманность,—говоритъ общившій объ этомъ случаѣ корреспондентъ,—если о гуманности можетъ быть рѣчь около висѣлицы,—требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрѣшенія этого послѣдняго свиданія. Третьяго, казалось, тутъ быть не можетъ . . . Но именно это третье, мучительное и безобразное въ своей безчеловѣчности, и вышло». Отецъ, бѣдный и больной старикъ, собравъ послѣдніе гроши, отправился въ Саратовъ, захвативъ съ собой и младшаго сына. Прежде всего, конечно, обратился въ судъ. Здѣсь ему посоветовали «навести справку» у командующаго войсками. На вопросъ—живъ ли еще его сынъ, сухо отвѣчали: не знаемъ. Старикъ съѣздилъ въ Казань, но и тутъ ему «справки» не дали.

Вернулся въ Саратовъ и три-четыре дня обивалъ разные пороги. Ходилъ къ прокурору, къ тюремному попу, въ тюремную контору. Наконецъ, кто-то (добрая душа!) сжалился надъ тоской и слезами стараго отца и сообщилъ ему, что сынъ его уже повѣшенъ . . .

«Этотъ старикъ,—заключаетъ корреспондентъ,—уѣдетъ домой, въ семью, въ кругъ своихъ близкихъ знакомыхъ, друзей . . . И отъ него, отъ множества такихъ стариковъ, отъ всѣхъ имъ близкихъ,—будутъ требовать любви къ родинѣ, уваженія къ ея учрежденіямъ, патріотическихъ чувствъ» . . .¹⁾.

Конечно . . .

Однако, вернемся къ нашему «бытовому матеріалу».

Контора, въ которой «смертнымъ» даются послѣднія свиданія съ родными, раздѣлена на двѣ неравныя части деревянной перегородкой въ половину человѣческаго роста. «Смертный» вводится за перегородку, дверца за нимъ закрывается, по обѣимъ сторонамъ становятся надзиратели. Родственники, пришедшіе на свиданіе, остаются на другой сторонѣ перегородки.

Надзиратели равнодушно слушаютъ разговоры. Человѣкъ ко всему привыкаетъ, а они многихъ приводили уже къ этой рѣшеткѣ и къ висѣлицѣ. Ихъ дѣло смотрѣть, чтобы смертному не передали чего нибудь, и главное, ножа или яду, и они смотрятъ равнодушно и безстрастно. Но на человѣка

¹⁾ «Кіевскія Вѣсти», 8 марта 1909 г., № 66.

свѣжаго эти свиданія производятъ неизгладимое впечатлѣнiе, какъ все, въ чемъ вопросы жизни и смерти стоятъ въ такой осязательной формѣ. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть въ конторѣ во время послѣдняго свиданія съ матерью того самаго Я—ва, который такъ мужественно покончилъ съ собой. Это было незадолго до самоубійства. Высокій, съ болѣзненно-желтымъ лицомъ и лихорадочно блестящими глазами, стоялъ онъ у перегородки, за которой были двѣ женщины. Одна, сгорбленная, закутанная въ шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концомъ шали. Другая не плакала; глаза у нея были воспламененные и сухіе. Это была мать. Она не спускала глазъ съ сына, но словъ для него у нея не находилось. Такихъ словъ, которыя бы тронули, смягчили, утѣшили, которыя просто были бы у мѣста.

— Ну, какъ же ты теперь?—спрашивала она все таки тоскливо.—Какъ здоровье? . .

— Что здоровье? Повѣсятъ скоро,—хрипло отвѣтилъ сынъ и попробовалъ засмѣяться. Но смѣхъ не вышелъ и рѣзко оборвался. Опять молчаніе.

— Сны страшные видишь?—опять спрашиваетъ старуха.

— Да, разное снится,—отвѣтилъ онъ задумчиво и потомъ сказалъ легче и проще:—тамъ у меня поддевка осталась . . . Ее нужно бы продать . . .

Заговорили о поддевкѣ и оба обрадовались предмету, не имѣвшему прямого отношенія къ тому главному, что занимало обоихъ. Свиданіе скоро

прекратилось. «Смертнаго» надзиратели увели въ башню, а мать ушла «на волю», которая ей была, вѣроятно, не лучше этой башни. Говорили, что она послѣ казни сошла съ ума.

«Когда родители приходятъ на свиданіе,—говорится въ одномъ изъ писемъ,—то хочется все, все имъ передать. Но этого никакъ не могу сдѣлать: ничего не выходитъ. Вотъ сейчасъ чувствую, что много наговорилъ бы имъ ласкательнаго, хорошаго, успокоилъ бы ихъ, но въ конторѣ этого сдѣлать не могу, потому что тамъ рядомъ со мной стоятъ люди, противные мнѣ. При нихъ я не могу выговорить ни одного ласковаго слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но языкъ не повинуется. Когда идешь на свиданіе, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то какъ будто все позабудешь. Все изъ головы уйдетъ. Смотришь только на нихъ и слушаешь, что они говорятъ, а самъ ни слова.»

«Жду приѣзда своихъ,—говоритъ другой приговоренный,—они прислали мнѣ десять рублей, но я отдалъ ихъ женѣ. Вотъ человѣкъ, слѣпо преданный и любящій! Мнѣ положительно стыдно передъ ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нѣтъ возможности. А такъ тяжело! Говоримъ мы на разныхъ языкахъ.»

Человѣкъ, написавшій эти строки, приписываетъ это тяжкое отчужденіе отъ близкихъ людей разности умственныхъ уровней. Но едва ли это вѣрно. «На разныхъ языкахъ» говорятъ, повидимому, всѣ обре-

ченныя съ тѣми, кто остается послѣ нихъ на этомъ свѣтѣ. Человѣческій языкъ не приспособленъ для *такихъ* разговоровъ. Обычныя понятія робко смолкаютъ въ сознаніи своей ненужности, неумѣстности, оскорбительности. Что, въ самомъ дѣлѣ, значитъ вопросъ о здоровьѣ для человѣка, котораго скоро повѣсятъ . . . И сны ему, конечно, видятся всякіе . . . Разговоры о будущемъ мірѣ, о Богѣ и вѣчной жизни нашъ корреспондентъ тоже не приводитъ. Объ этомъ, наряду съ другими «формальностями», передъ висѣлицей скажетъ ему тюремный священникъ, который за это получаетъ казенное жалованіе . . . И, конечно, радъ бы былъ получать его за что-нибудь другое . . .

VI.

«Автобіографія».

«Смертники» пишутъ, если только есть возможность, довольно охотно. Это—одинъ изъ способовъ скоротать страшные часы ожиданія и, кромѣ того,—оглянуться, обращаясь къ сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. Въ случаяхъ, когда рукой пищущаго продолжаетъ водить одушевленіе идеей, за которую человѣкъ сознательно отдастъ свою жизнь,—такія письма отливаются въ формы, изумляющія и трогающія даже противниковъ. Русская печать въ послѣдніе годы нерѣдко имѣла случай оглашать на своихъ столбцахъ такія обра-

щенія мертвыхъ къ живымъ, и эти голоса изъ-за могилы читались въ самыхъ глухихъ и прозаическихъ закоулкахъ жизни, заставляя забывать о противорѣчiяхъ и несогласiяхъ и напоминая только о душевной силѣ, побѣждающей и освѣщающей ужасъ смерти.

Въ этихъ «бытовыхъ» очеркахъ мы имѣемъ дѣло не съ такими освѣщенными вершинами. Нашъ матеріалъ именно бытовой, обыденный, прозаическій. Авторы не выдающіеся люди, письма ихъ не согрѣты одушевленіемъ какой-нибудь вѣры. Это скорѣе печальныя сумерки мысли и гражданскаго сознанія. Но и здѣсь условія, въ которыхъ рождаются эти предсмертныя изліянія обреченныхъ людей, налагаютъ на нихъ печать серьезности, придаютъ имъ особое, печальное значеніе. Пишутся они безъ всякой задней мысли, какъ Богъ положить на душу, даже безъ надежды, что письмо проникнетъ дальше тѣснаго круга родныхъ или сосѣдней тюремной камеры. Близость смерти дѣлаетъ людей искренними и серьезными. Тому, что говорится въ такихъ условіяхъ, приходится вѣрить.

Въ нашемъ распоряженіи есть цѣлая автобіографія такого зауряднаго человѣка, приговореннаго къ смерти, и теперь, вѣроятно, уже казненнаго. Мы приводимъ ее здѣсь цѣликомъ въ томъ видѣ, какъ она описана нашимъ корреспондентомъ.

«Вы спрашиваете о дѣтствѣ. Да, о немъ я вспоминаю отчасти съ хорошей стороны, отчасти съ сожалѣніемъ. Родился я и выросъ въ очень богатой аристо-

кратической семьѣ. Все дѣтство было сплошнымъ удовольствіемъ. Былъ окруженъ няньками, репетиторами. Зимой жилъ въ городѣ, лѣтомъ — въ прекрасномъ имѣніи. Имѣлъ ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потомъ началось ученіе. Учился въ трехъ гимназіяхъ, года полтора въ кадетскомъ корпусѣ на казенный счетъ, благодаря заслугамъ отца передъ отечествомъ и престоломъ. Нигдѣ не кончилъ и сдѣлался въ концѣ концовъ оболтусомъ. Мать по своему любила меня. Отца я помню мало. Онъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ турецкой кампаніи скончался. Насъ было четверо братьевъ и одна сестра. Долженъ вамъ сказать, что, несмотря на имѣющіяся въ нашей семьѣ большія средства, ни одинъ изъ братьевъ нигдѣ не окончилъ. Выростая, каждый сталъ отдѣляться отъ семьи и кое-какъ устраивался. Одинъ изъ братьевъ отравился лѣтъ 18-ти отъ безнадежной любви. Другой женился 19 лѣтъ на горбатой дѣвушкѣ, дочери крестьянина, чѣмъ, по мнѣнію матери, осрамилъ всю фамилію. Служить онъ теперь оберъ-кондукторомъ на Юго-Западныхъ жел. дорогахъ. Третій женился на артисткѣ провинціального театра и, сколько я помню, всегда былъ на полицейской службѣ. Теперь онъ гдѣ-то служитъ приставомъ или помощникомъ полицеймейстера. Помню я, что онъ былъ нѣсколько разъ подъ судомъ за растрату и дебоширство, но, благодаря протекціи, всегда выходилъ сухимъ изъ воды. Четвертый—я, вашъ покорнѣйшій слуга, мерзавецъ порядочный, въ особенности по отношенію

къ женщинамъ. Былъ, впрочемъ, таковымъ только до ознакомленія съ политикой. Вотъ эта самая штука, «политика» захватила меня цѣликомъ. У меня явилась жажда къ ученію, и я, хотя и безтолково, началъ читать все, что попадалось подъ руку. Не забудьте, что до этого ничего, кромѣ бульварныхъ романовъ, не читалъ. Въ дѣтствѣ у меня проявлялся, хотя безсознательно, какой-то вольный духъ, изъ-за чего у меня выходили со своими крупныя ссоры. Лѣтомъ крестьянамъ разрѣшалось собирать въ нашемъ лѣсу грибы, но только тѣмъ, которые за это выходили на работу. Такимъ выдавались билетки, а остальнымъ не разрѣшалось. Не выходили на работу, повидимому, потому, что было невыгодно. И, вотъ, на такихъ-то и дѣлались облавы, при чемъ собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавалъ грибы обратно, а съ братьями по этому поводу вступалъ въ драку. Какъ ни старались втолковать мнѣ, я все-таки стоялъ на своемъ. Когда изъ-за этого произошла крупная ссора, я написалъ записку приблизительно такого содержанія: когда будете читать эту записку, меня уже не будетъ въ живыхъ. Умираю потому, что не позволяютъ возвращать крестьянамъ грибы. Затѣмъ я взялъ револьверъ, оставилъ эту записку на столѣ и ушелъ съ сознаніемъ, что ровно себѣ ничего не сдѣлаю. Тутъ же за мной была погоня. Я не успѣлъ добѣжать до лѣсу и былъ пойманъ. Но съ тѣхъ поръ прекратились облавы на крестьянъ, и я торжествовалъ. Этотъ случай

является однимъ изъ пріятныхъ воспоминаній. Старшихъ—матери, тетокъ и дядей—мы всѣ, дѣти, избѣгали и старались поскорѣй скрыться изъ ихъ глазъ, несмотря на то, что я ни разу не былъ наказанъ ими. Насъ выводили, какъ дрессированныхъ щенятъ, къ столу. Говорили мы заученныя французскія фразы, цѣловали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое продѣлывали мы, когда были гости. Отъ такого воспитанія ничего хорошаго для насъ не получилось. Меня, да вѣроятно, и другихъ братьевъ, ничто не тянуло къ родному углу. Мать и другіе родственники, по настоящему, чужіе для меня люди, и у меня нѣтъ къ нимъ любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душѣ и приласкаться, то я отказался бы: не дастъ она мнѣ той ласки, которая мнѣ нужна, да и не займетъ она меня. Я съ ними никогда не ссорился. Письма съ поздравленіями писалъ аккуратно, такъ какъ зналъ, что это для нихъ важно. Никогда я не обращался къ нимъ съ просьбами. Всегда имъ писалъ, что здоровъ, живу хорошо, хотя на самомъ дѣлѣ мнѣ и приходилось сидѣть безъ ѣды дня по два и по три. Почему я не обращался,—не отдаю (себѣ) отчета. Я не сказалъ о сестрѣ. Она кончила въ Кіевѣ гимназію, вышла замужъ за доктора, но не по любви, а потому, что мужъ представлялся ей выгодной партіей. Съ супругомъ, сыномъ и матерью она и теперь живетъ въ N. Мужъ ея уже профессоръ, имѣетъ громадныя связи и безусловно могъ бы сдѣлать для меня очень многое. За два года тюремнаго заключенія я ни разу

не писалъ имъ. Не писалъ потому, что не зналъ ихъ взглядовъ и думаю, что ихъ скомпрометирую. Теперь мнѣ хотѣлось бы послать имъ письмо, но то, что хотѣлось бы написать—нельзя, а писать такъ,—не стоитъ. Да думаю, что на меня и на брата кондуктора смотрятъ, какъ на нравственныхъ уродовъ. Но теперь, въ виду смерти, мнѣ хотѣлось бы знать, пожелаютъ ли они хлопотать за меня. Если да,—то я отложилъ бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязно мучаетъ меня: умру ли тогда, когда захочу того самъ . . .

«Но я уклонился отъ разсказа о своей жизни. Лѣтъ 15—16-ти я, послѣ долгихъ пререканій съ матерью, добился согласія на отъѣздъ, получилъ рублей 300 денегъ и укатилъ въ Одессу. Моя мечта была поступить на море. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я добился своего и поступилъ на пароходъ «Платонъ» Россійскаго Общества и совершалъ поѣздки до Батума и обратно. Прослужилъ я въ качествѣ ученика около двухъ лѣтъ, затѣмъ заболѣлъ, пролежалъ мѣсяца четыре въ больницѣ и потомъ вышелъ. Подъ руководствомъ одной особы, довольно опытной, вскорѣ послѣ этого занялся торговлей. Три года съ лишкомъ родные не знали, гдѣ я и что со мной. Я, наконецъ, написалъ. За мной пріѣхала жена брата (котораго изъ братьевъ,—авторъ письма не сообщаетъ) и уговорила уѣхать обратно. Возвратившись въ Кіевъ, я познакомился съ институткой, очень хорошенькой, закрутилъ съ ней въ любовь, и въ результатѣ—роды. Я хотѣлъ было жениться,

но родные увезли ее и выдали замужъ, какъ я это узналъ потомъ» . . .¹⁾.

Такъ началась и такъ шла эта странная сумеречная жизнь въ такой же странной сумеречной семьѣ, выдѣляющей въ одну сторону типичнаго полицейскаго-взяточника и преступника, пользующагося протекціей, чтобы избѣгнуть суда, въ другую— кандидата на висѣлицу. Все здѣсь какъ будто на своемъ мѣстѣ, все формально прилично: семья собирается за чайнымъ столомъ, дѣти подходятъ къ ручкѣ и говорятъ заученныя фразы. Но все такъ глубоко чужды другъ другу, что даже въ минуты смертельной опасности, передъ возможностью казни (и при томъ, какъ увидимъ, казни по ошибкѣ) у человѣка, написавшаго эту удивительную автобіографію, нѣтъ рѣшимости пробить брешь въ ужащающемъ семейномъ отчужденіи. Здѣсь нѣтъ ни слова о взаимной любви, ни слова о религіи, ни слова объ общемъ Богѣ . . . Ни откуда также не проникло еще сюда и отрицаніе религіи или семьи. Ее никто не отрицалъ. Ея просто не было. Въ такомъ состояніи, уже взрослымъ, уже отцомъ, но все еще бродягой, не членомъ общества,—авторъ встрѣчается съ «политикой».

«Политику,—говоритъ онъ,—я сначала считалъ простыми переговорами одного государства съ другимъ, но къ политическимъ преступникамъ питалъ вообще глубокое уваженіе и считалъ ихъ чуть ли не сверхъ-человѣками» . . . Какъ могли явиться полити-

¹⁾ Здѣсь мы опускаемъ личное указаніе.

ческіе преступники при условіи, что политика—только переговоры одного государства съ другимъ, авторъ не объясняетъ, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, въ какомъ бродить гражданская мысль даже сравнительно «культурнаго» русскаго человѣка. Совершенно понятно, что разобратъся въ многообразномъ броженіи политическихъ идей при такихъ условіяхъ нѣтъ никакой возможности. «Политика» тутъ обращается въ простое «отрицаніе существующаго строя», и беззащитный умъ влечется туда, гдѣ это отрицаніе послѣдовательнѣе и проще.

«Въ первый разъ,—пишетъ авторъ,—я былъ арестованъ въ Кіевѣ, когда жандармскій ротмистръ изнасиловалъ въ Петербургской крѣпости политическую, кажется, И—ую¹⁾. Студенты въ Кіевѣ рѣшили отслужить по сгубленной панихиду, но имъ въ этомъ было отказано. Студенты все таки собрались, человѣкъ триста. Былъ тутъ и я. Насъ всѣхъ

¹⁾ Авторъ имѣетъ, очевидно, въ виду громкую и памятную исторію девяностыхъ годовъ, когда молодая дѣвушка, курсистка, заключенная въ крѣпости, облила себя керосиномъ и зажгла на себѣ платье. Въ городѣ много говорили о причинахъ этой смерти, и во всякомъ правовомъ государствѣ невозможно было бы оставить мрачную загадку безъ всесторонняго освѣщенія. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сдѣлавъ такимъ образомъ тайну служебнаго преступленія своимъ общегосударственнымъ дѣломъ. Волненія молодежи по этому поводу обошли всѣ высшія заведенія Россіи. Фамилія покойной дѣвушки была, если не ошибаюсь, Вѣтрова.

переписали, но тутъ же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмамъ. Черезъ четыре мѣсяца выслали на одинъ годъ изъ Кіева».

Послѣ этого молодой человѣкъ поступилъ счетоводомъ на Юго-Зап. желѣзную дорогу, гдѣ его дядя служилъ инженеромъ. Устроился сносно, но мѣстность была лихорадочная, и онъ заболѣлъ. Пришлось уѣхать въ Самару, гдѣ ему удалось поступить конторщикомъ на желѣзную дорогу. Конторщикъ онъ былъ, вѣроятно, самый обыкновенный, и едва ли за нимъ послѣдовала даже репутація неблагонадежнаго. Такихъ маленькихъ «протестовъ» тогда было очень много. Но если бы вскрыть въ это время душу этого обыкновеннаго самарскаго конторщика, то въ ней можно было бы обнаружить представленіе о государствѣ, какъ объ учрежденіи, подъ покровомъ котораго совершаются гнусныя насилія въ глухихъ казематахъ надъ беззащитными дѣвушками. Оно покрываетъ эти насилія и наказываетъ за выраженіе негодованія. Съ такой психологической подготовкой онъ знакомится въ Самарѣ съ фельдшерицами-ученицами, къ которымъ ходили неблагонадежныя лица. «Тутъ то я и сталъ познавать всю премудрость.»

Какую именно «премудрость», авторъ не объясняетъ, считая это понятнымъ . . .

«Вотъ моя жизнь,—такъ заканчиваетъ онъ свое жизнеописаніе.—За что я иду на висѣлицу? Скоро наступитъ смерть, и я даю вамъ слово, что не только въ этой, но и ни въ какой экспроприаціи я никогда

не участвовалъ. Да, вѣроятно, я и не способенъ убить кого бы то ни было. По натурѣ я очень мягокъ и добрѣ до идіотства, такъ что буквально не способенъ на такія дѣла. Въ этомъ же дѣлѣ, за которое меня приговорили къ смерти, я виноватъ только въ томъ, что не донесъ. Да я и не зналъ точно, какъ они хотятъ обработать это дѣло. Да если бы и зналъ, то мои убѣжденія не позволили бы мнѣ сдѣлать доносъ. На судѣ мнѣ пришлось удивиться существованію мелкихъ уликъ противъ меня. Теперь я говорю вполне искренне: въ данномъ случаѣ было простое совпаденіе. *Ну, да чортъ съ ними! Не хочется объ этомъ и толковать.* Добавляю, впрочемъ, интересный фактъ: судъ призналъ меня виновнымъ только въ подстрекательствѣ, и все таки далъ мнѣ висѣлицу» . . .

Если припомнить, что это письмо писано изъ одного каземата въ другой, въ расчетѣ на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповѣдь приговореннаго передъ временнымъ товарищемъ по тюрьмѣ,—то страшная правдивость его станетъ внѣ всякихъ сомнѣній. Въ одномъ изъ цитированныхъ выше писемъ мы видѣли, какъ приговоренный къ смертной казни обругалъ судъ не за себя (себя онъ признавалъ виновнымъ въ томъ, что ему приписывали), а за то, что вмѣстѣ съ нимъ былъ приговоренъ невинный . . . Очень вѣроятно, что этотъ протестъ вызванъ приговоромъ именно надъ этимъ юношей.

Теперь,—когда изъ тюремныхъ камеръ эта автобіографія выбралась на волю,—вопросъ объ этой

жизни давно, конечно, рѣшенъ. Какъ? Этого мы сказать не можемъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что «правосудіе сдѣлало свое дѣло». И того, кто писалъ эти строки, и другого, который одинъ только, звеня кандалами, по своему за него заступился (за что вдобавокъ къ смертной казни попалъ еще въ карцеръ)—уже, надо думать, нѣтъ на свѣтѣ. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречнаго правосудія, не умѣющаго отличить виновныхъ отъ невинныхъ. Едва ли послѣднія минуты этой жизни освѣтились вспышкой какой нибудь вѣры. «Чортъ съ ними»—такова формула, которую, уходя, онъ кинулъ на прощаніе . . .

Но тѣ, кто его судили, вели на казнь и напутствовали предсмертными поученіями, какъ будто во что то вѣрятъ сами и требуютъ вѣры отъ другихъ. Думаютъ ли они о томъ, какой ужасный искъ этотъ сумеречный и невѣрующій юноша могъ бы представить противъ «существующаго строя» въ той признаваемой ими инстанціи, которая должна быть выше всякаго земного суда . . .

На вопросъ,—возможны ли такія ошибки, составляютъ ли онѣ исключенія или тоже входятъ въ составъ «бытоваго явленія»,—постараюсь отвѣтить въ одномъ изъ послѣдующихъ очерковъ.

VII.

«Въ нашихъ мѣстахъ»—пишетъ корреспондентъ, матеріалами котораго я пользовался въ предыду-

щихъ очеркахъ,—экспроприаторы появились уже послѣ московскаго вооруженнаго возстанія, за которымъ послѣдовало вооруженное возстаніе и въ той мѣстности, гдѣ находится упомянутый выше желѣзодѣлательный заводъ.»

Эта «хронологическая» послѣдовательность знаменательна и уже сама по себѣ указываетъ на извѣстную связь явленій.

Въ разгаръ бурнаго революціоннаго движенія экспроприаціи имѣли еще окраску политическую. Предполагалось, что уже началась открытая борьба «народа» съ представителями и защитниками стараго строя. А во время такой открытой борьбы нападеніе, такъ сказать, на «обозы непріятеля» является какъ бы частью военныхъ дѣйствій, своего рода «военной реквизиціей». Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ, обильно поступавшихъ въ редакціи газетъ и журналовъ, написанныхъ торопливо, неумѣло и нехудожественно, но по своей наивной непосредственности являвшихся правдивымъ отраженіемъ извѣстнаго настроенія, довольно часто попадался еще въ недавнее время одинъ и тотъ же мотивъ: дѣвушка, увлеченная вихремъ борьбы, говоритъ юношѣ (или, наоборотъ, юноша говоритъ дѣвушкѣ): «вы ищете дѣла, за которое стоило бы отдать жизнь . . . Тогда-то по такой-то дорогѣ повезутъ казенныя деньги. Вернемъ народу, борющемуся за свои права, его достояніе». А, такъ какъ для русской революціи характерна одновременная постановка социальнаго и политическаго вопросовъ, то порой такимъ непререкаемо

«народнымъ достояніемъ» объявлялись также фабричныя или заводскія кассы . . .

Въ этомъ періодѣ психологія экспроприаторовъ, когда имъ приходилось расплачиваться жизнью за свои «боевыя» выступленія, ничѣмъ еще не отличалась отъ психологіи идейныхъ революціонеровъ. Порой она носила ту же печать высокаго душевнаго подъема, одушевленія и вѣры въ значеніе «своего дѣла». Недавно (въ сентябрѣ 1909 года) въ кievскомъ окружномъ судѣ (съ присяжными засѣдателями) разбиралось дѣло эстонскаго журналиста Эккарта (Энделя) Хорна. Ранѣе онъ былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ за политическое преступленіе, совершенное въ Прибалтійскомъ краѣ, гдѣ, какъ извѣстно, революціонное движеніе было особенно интенсивно и мѣстами дѣйствительно принимало характеръ массовой борьбы. Въ кievской Лукьяновской тюрьмѣ, гдѣ онъ отбывалъ наказаніе, въ сосѣдней съ нимъ камерѣ содержалась «смертница», Матрена Присяжнюкъ, бывшая сельская учительница. Въ августѣ 1908 года она была приговорена кievскимъ военно-окружнымъ судомъ къ смертной казни. 12 сентября приговоръ былъ утвержденъ, но исполненіе почему-то затянулось. Передъ казнью Матрену Присяжнюкъ перевели въ камеру рядомъ съ Хорномъ. Онъ слышалъ ея шаги и звонъ кандаловъ. Ночью свѣтила луна. Черезъ стѣну было слышно, какъ приговоренная, звеня кандалами, подошла къ своему окну. Два товарища, осужденные вмѣстѣ съ нею, уже раздобылись ядомъ. Хорнъ

вскрылъ замазанное глиной отверстие въ стѣнкѣ и передалъ дѣвущкѣ ціанистый калий въ носкѣ чайника. Она приняла ядъ, и Хорнъ до конца разговаривалъ съ нею, утѣшалъ ее. Въ письмахъ къ невѣстѣ, сидѣвшей въ той же тюрьмѣ, онъ описалъ послѣднія минуты Матрены Присяжнюкъ (кружковая кличка ея была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писалъ человѣкъ, потрясенный до глубины души. О себѣ онъ иной разъ говоритъ въ женскомъ родѣ, о своей невѣстѣ и Раѣ—въ мужскомъ.

«Я ждалъ вечера. Какой это былъ длинный, мучительный день . . . Когда всѣ у насъ ложились спать, я открылъ ножикомъ замазанное глиной отверстие . . . Черезъ нѣсколько минутъ я увидѣлъ свѣтъ изъ ея камеры . . . Открывается отверстие, и она называетъ меня по имени. О, Боже! Я долженъ былъ передать ей . . . Я чувствовалъ, какъ она сняла съ палочки мое посланіе . . . Затѣмъ передалъ ей два письма. Все время съ жадностью смотрѣлъ я въ отверстие. Она читала.

«Въ это время спрашиваетъ Степа изъ каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думаетъ принять, чтобы уйти вмѣстѣ . . . Какая любовь! Они любили ее . . . Звонъ кандаловъ. Значить, прочитала» . . . «Милый, я долго говорилъ съ нею, я дополнилъ словами письмо. Наконецъ, я просилъ ее немного отступить отъ отверстия, чтобы я могъ ее увидѣть. И я увидѣлъ ея красивое, чистое личико. Какой я былъ счастливецъ! Она смотрѣла на меня и смѣялась тихо, тихо . . . «Эндель, ты слышишь, я смѣюсь?»—

Да, Раичка, слышу . . . Что съ тобою? . . «Мнѣ смѣшно, что мы здѣсь увидимся, что мы сумѣемъ еще говорить» . . . Затѣмъ она спросила, что съ тобою? Гдѣ Анатоль, гдѣ «землякъ»? . . «Передай моей Надюшкѣ мои привѣты и поцѣлуй». Здѣсь она уходитъ. Черезъ нѣкоторое время опять подходитъ. —Степа спрашиваетъ: «когда»?—«Сегодня, послѣ смѣны,—отвѣтила она.—Дѣйствуетъ ли калий?»—«Да, дорогая. Больше ничего не могу тебѣ дать!»—Здѣсь я страшно волновался. Передать изъ рукъ въ руки другу, которую такъ любишь, смерть, когда такъ хочется жить. Это ужасно . . . «Не волнуйся, Эндель»,—отвѣтила она. Я молчалъ, а она говорила что-то. Наконецъ, она спрашиваетъ, какимъ образомъ принять.—«Разотри въ порошокъ. Можно немного воды».—Хорошо, я возьму такъ. Она ушла.

Послѣ смѣны «стукъ въ стѣнку,—я подошелъ. «Сейчасъ приму. Эндель, я безъ воды! Что парни?»—спрашиваетъ она.—Кажется, уже.—«Прощай».—Прощай, дорогая!—Я слышалъ шорохъ платья, звонъ кандаловъ. Затѣмъ тишина.—Раичка, приняла?—«Уже, прощай!»—Прощай, дорогая . . . Нѣсколько секундъ была глубокая тишина. Затѣмъ она сильно задышала. Вздохи . . . Опять слабое дыханіе . . . наконецъ, сильные вздохи . . . тишина. Тише, человѣкъ умеръ . . . не стало дорогой Раички. Тише, человѣкъ умеръ, но жизнь идетъ своимъ чередомъ» . . . «Я говорилъ съ нею, я слышалъ все, былъ съ нею до послѣдней минуты. Все это навсегда запечатлѣлось въ моей душѣ. . . Нѣтъ Раи, говорите

вы, неправда! Я говорю,—она есть и теперь со мною, со всѣми нами, которые любили ее. Мы будемъ жить ею. Черезъ нѣкоторое время послышались стуки въ стѣнку, но отвѣчать было незачѣмъ. То пришли тюремщики¹⁾).

Это письмо попало изъ тюрьмы на волю, ходило по рукамъ и, спустя полгода, было взято при обыскѣ у нѣкоего Кинсбургскаго. Оно послужило основаниемъ для возбужденія противъ Хорна новаго дѣла «о пособничествѣ самоубійству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года кіевскимъ окружнымъ судомъ. Почему оно было направлено въ порядкѣ общей подсудности, съ присяжными и даже при открытыхъ дверяхъ, — сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищъ», которыхъ военные суды келейно приговариваютъ къ смертной казни, то расчетъ оказался ошибочнымъ. «Медленно и страшно—говорить авторъ судебного отчета—приподнялась завѣса надъ однимъ изъ ужасовъ жизни. Наступающія сумерки, сухое и отчетливое чтеніе письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатлѣніе.» Въ короткомъ послѣднемъ словѣ Хорнъ, признавая фактъ, отрицалъ вину. «Она приговорена была къ смертной казни, приговоръ былъ утвержденъ, и я помогъ дорогому товарищу освободиться отъ нея. Я ничего безнравственнаго не совершилъ.» Дальше онъ не могъ говорить отъ

¹⁾ Письмо это (съ нѣкоторыми сокращеніями) я заимствую (изъ судебного отчета, напечатаннаго въ мѣстной газетѣ «Кіевскія Вѣсти», 11 сент. 1909 г., № 242).

волненія и сѣлъ . . . Присяжные удалились въ совѣщательную комнату только на одну минуту. Приговоръ былъ *оправдательный*.

Въ значеніи его едва-ли можно ошибиться. Присяжные—это люди изъ того самаго общества, которое правительство защищаетъ отъ экспроприаторскихъ налетовъ посредствомъ военныхъ судовъ и смертныхъ казней. Хорнъ—революціонеръ, анархистъ, стоявшій очень близко къ экспроприаторскимъ кругамъ . . . И тѣмъ не менѣе во всемъ эпизодѣ нѣтъ ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирѣпости» или «глубокой испорченности», невольно возникающихъ въ воображеніи въ связи съ такимъ рѣзко-отрицательнымъ явленіемъ, какъ экспроприация, вдобавокъ еще частная. Для присяжныхъ она осталась въ туманѣ. Передъ ними и передъ обществомъ всталъ только образъ интеллигентной дѣвушки довольно распространеннаго въ Россіи типа, съ знакомой издавна психологіей прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловѣческаго страданія и атмосферу такого взаимнаго сочувствія, что присяжные, какъ мы видѣли, даже не колебались. Ихъ приговоръ явился непосредственнымъ откликомъ общественной совѣсти. Несомнѣнно, что Хорнъ помогъ жертвѣ правосудія ускользнуть отъ висѣлицы. Онъ содѣйствовалъ самоубійству . . . Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди средняго русскаго типа, сказали: *не виновенъ*. Не знаю, конечно, вспоминали

ли они знаменательное признаніе гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и безъ графа Витте у средняго русскаго человѣка, поставляющаго контингентъ присяжныхъ засѣдателей, есть представленіе о связи явленій, которая въ послѣднее время становится особенно ясной. И если даже въ міазматическомъ угарѣ экспроприаторской эпидеміи передъ удивленнымъ взглядомъ такого средняго русскаго обывателя встають черты душевной красоты и чувствуется психологія самоотверженія,—то тутъ есть поводъ задуматься о причинахъ этого угара . . . Общественная совѣсть не мирится, конечно, съ экспроприаціями. Но она не можетъ примириться и съ прямолинейнымъ рѣшеніемъ труднаго вопроса посредствомъ не разсуждающей «упрощенной» процедуры, въ концѣ которой—веревка и висѣлица . . .

Разумѣется, угаръ есть все-таки угаръ, и эпидемія есть эпидемія, распространяющая нравственные міазмы. Даже временная связь между экспроприаціями и традиціями политическихъ партій не могла удержаться долго. Она была вызвана невѣрной оцѣнкой даннаго момента. По существу же, какъ длительная тактика борьбы, она глубоко-антагонистична психологіи революціонныхъ партій. Этотъ антагонизмъ проявился сразу и съ тѣхъ поръ только усиливался. Случайные, идейно-революціонные элементы уходили изъ міазматической полосы. Но для правительства и для вульгарной «благонамѣренности» вообще выгодно смѣшивать эти явленія. Репрессіи противъ

всѣхъ оппозиціонныхъ партій оправдываются существованіемъ экспроприацій. Борьба мнѣній, партійное самоопредѣленіе, партійные споры и борющіяся внутри оппозиціи программы—составляютъ въ глазахъ всякаго политически-просвѣщеннаго правительства элементъ *соціальной рефлексіи*, которая уже сама по себѣ ослабляетъ дикую страстность борьбы, обращая ее отъ непосредственныхъ импульсовъ въ сферу мысли, колебаній, сомнѣній, изученія. Свобода мнѣній выставляетъ самыя крайнія изъ нихъ подъ свѣжія вѣянія критики. Наша власть продолжаетъ считать своимъ успѣхомъ и признакомъ своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиціонной мысли и воли въ душныя подполья, оставивъ на поверхности жизни одно только властное предписаніе, одинъ только голосъ «организованнаго безпорядка» и стихійную анархію . . .

Въ этомъ правительство достигло значительныхъ внѣшнихъ успѣховъ. Одного только оно устранить не въ силахъ. Это общаго, можно сказать, всенароднаго сознанія, что . . . *такъ дальше жить нельзя*. Сознаніе это властно царитъ надъ современной психологіей. А такъ какъ самостоятельныя попытки творческой мысли и дѣятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленнымъ одно это сознаніе, то есть психологія голаго отрицанія. А это и есть психологія анархіи. Ни уваженія къ «отсталому строю», разъ уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуваженія, какъ къ членамъ организующагося

по новому общества.—«Вы говорите о какихъ-то возможныхъ еще приѣмахъ легальной или хоть неполнѣй легальной партійной борьбы. Гдѣ они? Вотъ! Только *эти люди* еще борются *при всякихъ условіяхъ*. Итакъ, долой всякую соціальную рефлексію, всякую организацію, всякія положительныя программы и принципы. Мы принимаемъ только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими принципиальными программами выступленіе анархической личности. Насиліе индивидуальное на насиліе легализованное, тайное убійство противъ казни по упрощенному суду или совѣмъ безъ суда, грабежъ—противъ разоренія «административнымъ порядкомъ», личная кровавая месть противъ истязанія въ участковомъ застѣнкѣ, партизанская анархія противъ никитенковского «организованнаго безпорядка». Общій фонъ—глубочайшее презрѣніе уже не только къ одной сторонѣ жизни, а ко всей жизни: къ правительству, къ обществу, къ себѣ и къ другимъ. Мы видѣли, какъ одинъ изъ смертниковъ прощался со всѣмъ. этимъ краткой формулой: чортъ съ ними.

Этому процессу нельзя отказать въ послѣдовательности. Онъ послѣдователенъ, какъ любая болѣзнь въ организмѣ, пораженномъ маразмомъ застоя...

Среди матеріаловъ, сообщенныхъ нашимъ корреспондентомъ, есть одно письмо, поразительное по цѣльности и интенсивности стихійно-анархистскаго настроенія.

«Вы спрашиваете, къ чему я стремился? И дѣй-

ствительно,—къ чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тѣхъ словъ, которыми могъ-бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что не то въ жизни, что должно-бы быть¹⁾. А какъ должно быть по настоящему, я не знаю, или, пожалуй, знаю, но не умѣю рассказать. Когда я былъ на волѣ, то наблюдалъ, что люди дѣлають не то, что нужно дѣлать, а совсѣмъ другое. Нѣсколько лѣтъ назадъ и я дѣлалъ не то, что нужно, я потомъ махнулъ рукой на всѣхъ и сталъ дѣлать то, что хочу и что мнѣ нравится.»

Себя онъ характеризуетъ съ безпощадной откровенностью.

«Я страшный эгоистъ и любилъ только себя всю свою жизнь. Я одно ясно сознавалъ: я живу, а разъ живу, то для этого нужны деньги (!). Своихъ денегъ у меня не было, и я бралъ, гдѣ только онѣ есть. Я не знаю,—быть можетъ, это и худо, но я ни на кого не смотрѣлъ. Мнѣ нѣтъ дѣла до людей, какого они мнѣнія о моихъ поступкахъ. Ты и самъ знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорѣе самъ отниму. Я всегда старался угнетать слабыхъ и брать у нихъ все, что мнѣ надо. Если бы понадобилась ихъ жизнь, я отобралъ бы ее, но въ жизни другихъ я не нуждался. Ты не думай, что подъ слабыми я разумѣю бѣдныхъ людей. Нѣтъ! У насъ и богачъ слабое существо. Я на волѣ былъ сильнѣе богача, но теперь я слабъ, у меня отняли все, что я имѣлъ, и мнѣ остается умереть.»

¹⁾ Курсивы всюду мои. В. К.

Правда, среди всего матеріала, которымъ я располагаю въ настоящее время, это письмо является единственнымъ по своему безнадежно-мрачному, безпросвѣтному цинизму. Другія только въ большей или меньшей степени къ нему примыкають. Въ нихъ это настроеніе смягчается по большей части проблесками признанія гдѣ-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печали о погибающей жизни.

«Придется умереть,—пишетъ восемнадцатилѣтній юноша. — А какъ хочется жить, если бы ты понялъ. Страшная жажда жизни. Подумай: мнѣ вѣдь только восемнадцать лѣтъ. А какъ я прожилъ эти 18 лѣтъ? Развѣ это была жизнь? Это были сплошныя страданія. Вѣдь у насъ семейство семь душъ. Работникъ почти одинъ братъ. Я еще какой работникъ. Обо мнѣ и говорить нечего: много ли я могъ заработать? Плохо было жить. Такъ я жизни и не видѣлъ.»

«Жизнь прошла блѣдной, какъ въ туманѣ, — пишетъ другой смертникъ.—Является чувство жалости къ прожитому. Почему я былъ такъ темень и не зналъ другой жизни? Почему я не учился? . . Жалѣешь, почему такъ поздно узналъ то, что узналъ теперь. Почему жизнь была такъ пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно.

«Впрочемъ, — заканчиваетъ онъ безнадежно — успокаиваетъ мысль, что, рано или поздно, но не избѣжать бы мнѣ этого. Если бы и выбрался я на

волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испыталъ этого. Пришлось бы заниматься тѣмъ же. Значить, и опять явился бы кандидатомъ на висѣлицу.»

«Все хорошее — пишетъ третій — заслонялось дурнымъ, и я видѣлъ только зло во всю свою, хотя и короткую жизнь. Видѣлъ, какъ другіе мучаются, и самъ съ ними мучился. При такихъ обстоятельствахъ и при такой жизни можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее? Прежде я работалъ на заводѣ, и мнѣ это нравилось. Потомъ я понялъ, что работаю на богача, и бросилъ работу. Съ вооруженнаго возстанія сталъ грабить съ такими же товарищами, какъ я.»

«Да и стоитъ ли выходить на волю?—спрашиваетъ четвертый.—Нашелъ ли бы я тамъ людей, съ которыми стоило бы жить? Я знаю, что гдѣ-нибудь есть хорошіе, честные люди, но я ихъ не найду, а сойду съ какими-нибудь негодями. Пожалуй, и не стоитъ выходить на волю и жить такъ, какъ я жилъ раньше. Лучше уже умереть, чѣмъ сплошная мука.»

Порой встрѣчаются попытки реабилитаціи и оправданія экспроприаторской «дѣятельности». «Я напишу вамъ о томъ, что меня мучаетъ въ данную минуту,—пишетъ одинъ изъ экспроприаторовъ-смертниковъ политическому заключенному.—Я знаю, что большинство людей считаетъ меня, какъ и другихъ экспроприаторовъ, простымъ воромъ. Но я не для себя грабилъ, а помогалъ тому, у кого ничего не

было. Объ этомъ знаютъ многіе. Я дѣлалъ это не отъ лица какой-нибудь партіи, а отъ себя лично, и мнѣ такъ обидно, когда обо мнѣ говорятъ такъ. Когда я прежде сидѣлъ въ общей камерѣ съ уголовными, то всѣ говорили, что экспроприаторы грабятъ только для себя. Я спрашиваю васъ: неужели тѣ, которые сидятъ съ вами въ одной камерѣ (рѣчь, очевидно, идетъ о политическихъ), думаютъ такъ же, какъ уголовные? Я говорилъ прежде уголовнымъ, что есть люди, которые берутъ не для себя, а для другихъ. Лично о себѣ я ничего не говорилъ, но мнѣ всегда было такъ горько при такихъ отзывахъ объ экспроприаторахъ.»

Но общій уровень экспроприаторской среды падаетъ ниже и этихъ наивныхъ попытокъ своеобразной идеологіи. «Я грабилъ съ такими же экспроприаторами, какъ и я,—печально признается еще одинъ авторъ—но и тутъ подлость: товарищ у товарища воруетъ. Я участвовалъ во многихъ грабежахъ, но рѣдко проходило безъ подлости. Развѣ это не обидно? Вѣдь свой у своего беретъ? А снаружи все хорошіе люди. И какъ жить послѣ этого?»

Читатель, вѣроятно, замѣтилъ горькую, хотя, можетъ быть, и несознательную иронію этихъ заключительныхъ словъ. О томъ, чтобы найти правду въ обычныхъ условіяхъ общества, этотъ погибающій юноша уже и не говорить. Остались еще, повидимому, немногіе хорошіе люди. Это экспроприаторы, которые одни активно дерзаютъ противъ торжествующей несправедливости. Но и они хороши только

«снаружи», по своему, такъ сказать, «почетному званію». Какъ жить послѣ того, когда *даже* среди нихъ настоящей правды не оказывается! . .

VIII.

«Приговоръ утвержденъ».

Этимъ исчерпывается автобіографическій, такъ сказать, матеріаль, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту. Эти интимнѣйшія, откровенныя и совершенно безкорыстныя признанія-исповѣди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались изъ камеры смертниковъ въ другія тюремныя камеры къ людямъ, которые не имѣли ни малѣйшей возможности повліять на участь приговоренныхъ. Въ каждой строчкѣ этихъ писемъ звучитъ поэтому только предсмертная правдивость. Многіе авторы писемъ откровенно говорятъ о томъ, что для нихъ при данныхъ условіяхъ нѣтъ уже никакого исхода, и сомнѣваются,—стоитъ ли имъ даже мечтать о жизни. И тѣмъ не менѣе,—только въ одномъ (первомъ) письмѣ можно, пожалуй, увидѣть признаки настоящаго цинизма и нераскаянности. Во всѣхъ остальныхъ сквозитъ горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то трудно доступной правдѣ. Можно ли, положиа руку на сердце, сказать, что для тѣхъ, кто писалъ эти исповѣди, не можетъ быть мѣста среди людей и что рука, подтверждающая эти приговоры,

удаляетъ изъ жизни изверговъ, недоступныхъ ни раскаянію, ни исправленію?

А вѣдь эти письма писаны по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими развѣдающей атмосферой вульгарно-анархической психологіи. Таково ли однако большинство жертвъ военной юстиціи? Экспроприаторство—это эпидемія. Нерѣдко она захватываетъ людей просто средняго типа, не думавшихъ за мѣсяць до преступленія, что они могутъ въ немъ участвовать, и просыпающихся отъ захватившаго ихъ вихря, точно послѣ тяжелаго сна. Въ газетахъ появлялись не разъ письма смертниковъ къ роднымъ, ярко выражающія это пробужденіе отъ кошмара и проникнутыя страстнымъ чувствомъ раскаянія. Нѣкто Карамышевъ служилъ въ экономіи Орлова-Давыдова, въ Аткарскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи. Былъ обыкновенный служащій, получилъ на службѣ увѣчье и долженъ былъ получить за это увѣчье деньги. Но въ промежуткѣ принялъ участіе въ нападеніи на купца, причемъ никому никакихъ увѣчій или ранъ причинено не было. Самый обыкновенный грабежъ, окрашенный современнымъ колоритомъ «экспроприаций». Тѣмъ не менѣе онъ былъ приговоренъ къ смертной казни. Вотъ его предсмертное письмо къ родителям¹⁾.

«Дорогіе мои родители, папаша и мамаша и сестрица Феня. Пишу я свое любезнѣйшее письмо

¹⁾ Напечатано въ «Сарат. Листкѣ» (№ 262). Заимствую его изъ «Рѣчи», № 2991, годъ, къ сожалѣнію, на моей вырѣзкѣ не отмѣченъ, кажется, 1908.

къ вамъ со слезами на глазахъ; извѣщаю я васъ въ томъ, что я присужденъ къ смертной казни черезъ повѣшеніе. То прошу, дорогіе мои родители, простите меня и всѣ мои преступленія передъ вами. Передъ смертью я исповѣдывался и причастился, отклонить этого я не могъ. Прощай, родной ты мой отецъ, прощай родная моя мать, прощай сестрица моя родная, прощайте всѣ мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогіе мои родители, отслужите панихиду по мнѣ. Ахъ, какъ трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ванѣ, что меня ужъ нѣтъ на свѣтѣ. Дорогіе мои папаша и мамаша. Когда писалъ это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились съ моихъ глазъ и капали прямо на столъ. Передайте моей женѣ, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навѣщали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моимъ дядямъ и теткамъ и также крестной и дѣдушкѣ, что я уже померъ. Передайте смертный мой поклонъ Федору, Петру, Василию, Мишѣ и всѣмъ моимъ знакомымъ. Еще прошу, напишите въ Баку теткѣ и брату Василию о томъ, что меня нѣтъ въ живыхъ. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увѣчье, то прошу васъ сердечно построить на эти деньги хорошій домъ и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мнѣ, такъ какъ у васъ осталось еще четыре сына; довольно вамъ и этихъ, безъ меня обойдетесь. Ну, дорогіе мои родители, прощайте же еще разъ. Прощай мое село

родное, гдѣ я родился и провелъ свою молодость. Прощай, все общество мое. Простите меня, злодѣя окаяннаго. Богъ, можетъ быть, не оставитъ меня и проститъ грѣхи мои всѣ.

«Письмо это я писалъ передъ смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что такъ плохо написалъ, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нѣтъ уже меня. Еще разъ прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждуть. Любящій сынъ вашъ Василій Максимовъ Карамышевъ.»

Читатель видитъ, что здѣсь нѣтъ и намека на характерную психологію экспроприаторовъ-анархистовъ, нѣтъ также и тѣни какой бы то ни было оторванности отъ среды и ея отрицанія. Эта разстающаяся съ міромъ душа—душа крестьянина, крѣпко связанная съ семьей, съ обществомъ, со своимъ міромъ.

За экспроприацію въ Балашовскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи былъ приговоренъ къ смертной казни Шуримовъ. Его отецъ, слѣпой старикъ, проживающій въ Цимлянской станицѣ (обл. войска Донскаго), получилъ отъ него слѣдующее письмо¹⁾:

«Здравствуй, дорогой папа. Шлю тебѣ свой послѣдній прощальный привѣтъ и желаю много . . . много . . . счастья. Прости, дорогой, что я такъ долго тебѣ не писалъ. Ты подумаешь, что я въ конецъ забылъ тебя. О, милый папа, не обвиняй меня такъ жестоко. Все это время нашей разлуки

¹⁾ «Кіевскія Вѣсти», № 64, 6 марта 1909 г.

съ тобой было сплошное мученье для меня. Я только тѣмъ и жилъ, что думалъ, настанетъ время, когда я навсегда соединюсь съ тобой, когда я буду въ силахъ преклонить твою сѣдую голову къ себѣ на грудь и залѣчить душевныя раны, что нанесъ твоему бѣдному, истерзанному сердцу. Но это время не настало, мечты мои разлетѣлись и осталась горькая дѣйствительность. Я съ 29 мая 1908 г. сижу въ тюрьмѣ. 23 января я былъ на судѣ и приговоренъ къ смертной казни. Приговоръ посланъ на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть замѣнили каторгой. Мнѣ осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приѣзжай, тебя допустить увидѣть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что послѣдняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бѣдную голову. Поцѣлуй Пашу и Мишу. Всѣмъ роднымъ поклонъ. Прощай, папа!»

Какъ и ожидалъ присужденный, приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе.

Еще болѣе яркія, по покаянному настроенію, письма написалъ восемнадцатилѣтній юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный къ смерти военно-окружнымъ судомъ въ Новочеркасскѣ въ декабрѣ 1908 года.

«Здравствуйте, дорогая мамочка.

«Я, по волѣ Всевышняго, еще живъ, но въ будущемъ не знаю, что со мной будетъ, приведутъ ли въ исполненіе приговоръ или же нѣтъ, но я, дорогая

мамочка, чувствую, что я живу послѣдніе дни, а, можетъ быть, даже и часы, вотъ уже десятыя сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, какъ заяцъ, къ каждому шороху, и, какъ только проходитъ мимо какой-нибудь надзиратель, такъ мнѣ все кажется, что это за мною, т. е. мнѣ кажется, что легче будетъ умирать на висѣлицѣ, нежели ожидать вотъ такъ каждую минуту то, что откроется дверь и скажутъ: выходи! Но, дорогая мамочка, на все Его святая воля, я надѣюсь на Него. Онъ Самъ страдалъ, но Онъ страдалъ за наши грѣхи, т. е. за грѣхи всего народа, а я страдаю за то, что не слушалъ васъ, дорогая мамочка, и не молился Ему, Который умеръ за наши грѣхи. Да, дорогая мамочка, грѣшенъ я передъ Богомъ и передъ вами. Каюсь, ну что, теперь, мнѣ кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я васъ, молился бы почаще Богу, ничего бы подобнаго не было; а то я послушалъ совѣта товарищей и оставилъ службу въ банкѣ, не бросилъ бы я служить, не сидѣлъ бы я теперь и не ждалъ бы каждый часъ смерти, а ожидалъ бы, какъ каждый христіанинъ, среди васъ, дорогіе мои, праздника Рождества Христова, ну, на все воля Всевышняго. Суждено мнѣ умереть, я умру, если нѣтъ—значить, буду жить.

«Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть онъ молитя Богу за всѣхъ васъ, а также пускай помолится за своего грѣшнаго брата, можетъ, Богъ услышитъ его, а обо мнѣ, дорогая мамочка, забудьте, я не достоинъ, чтобы изъ-за

меня мучились люди, а тѣмъ паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она васъ слушалась и училась, и молилась за своего грѣшнаго брата Богу. Мамочка, смотрите за ними, т. е. за Колей и Марусей. Скажите имъ, чтобы они васъ слушали, а не подругъ и товарищей.

«Дорогая бабушка, я знаю, что я вамъ приношу много горя, такъ какъ я горячо вами любимъ, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня Богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать въ такихъ лѣтахъ, какъ я, вѣдь мнѣ только 18 лѣтъ, и я долженъ умирать, ну, разъ такъ хочетъ Богъ, то пусть такъ и будетъ. Если Господь насъ, т. е. меня съ вами со всѣми, дорогіе мои, раздѣляетъ здѣсь на землѣ, то онъ насъ соединитъ тамъ, гдѣ дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нея есть еще Коля и Маруся; я молю Бога, чтобы она нашла въ нихъ себѣ утѣшеніе.

«Ну, покамѣстъ до свиданія, а можетъ быть прощайте, это Богъ знаетъ. Цѣлую васъ всѣхъ крѣпко, поцѣлуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всѣхъ остальныхъ. Евгеній Мавроффриди.»

Въ томъ-же тонѣ написано и письмо къ брату, тому самому Колѣ, о которомъ этотъ юноша нѣсколько разъ упоминаетъ въ предыдущихъ письмахъ. Онъ проситъ его не оставить мать и сестру: «у нихъ одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги ихъ, выучи ты Марусю, чтобы изъ нея вышла порядочная

барышня, а не какая-нибудь потаскуха» . . . «Не оставляй службы, служи, терпи и, Боже тебя сохрани, послушать совѣтъ товарища безъ совѣта матери» . . . «Дорогой Коля, если мнѣ придется умирать, то я оставляю свой крестикъ золотой на серебряной цѣпочкѣ, ты его получишь въ тюремной конторѣ и одѣнь его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради Бога, это будетъ благословеніе твоего грѣшнаго брата.»

Въ Таганрогѣ, гдѣ жили родные Мавроффриди, письма пришли съ прокурорской помѣткой: писаны они 18 декабря. Мы не знаемъ, что предпринимала несчастная мать, но приговоръ билъ утвержденъ, и 29 декабря 1908 года восемнадцатилѣтній Мавроффриди казнень.

И сколько такихъ матерей, и сколько отцовъ, и братьевъ, и сестеръ, и бабушекъ получали въ послѣдніе годы такія письма. Сколько тутъ еще косвеннаго, непоправимаго и незабываемаго страданія людей уже совершенно невинныхъ. Слѣпой старикъ Шуримовъ, получившій въ Цимлянской станицѣ отъ своего сына цитированное выше письмо, захотѣлъ исполнить его просьбу и отправился въ Саратовъ, чтобы получить прощальное свиданіе. Въ первой статьѣ я уже рассказывалъ объ его «хожденіяхъ по этому дѣлу». Чтобы добиться простой справки,—живъ еще его сынъ, или его уже казнили,—ему пришлось путешествовать изъ Саратова въ Казань и только по возвращеніи оттуда «справку», наконецъ, дали: сынъ уже повѣшенъ. Что теперь съ этимъ

слѣпымъ старикомъ? Живъ ли онъ или не выдержалъ тяжкаго удара и послѣдовалъ за сыномъ? Мы не знаемъ. Это знаютъ, вѣроятно, въ Цимлянской станицѣ. «Были случаи—говоритъ сотрудникъ «Нашей Газеты», описавшій мытарства Шуримова-отца,—покушенія на самоубійство лицъ, близкихъ къ казненнымъ: люди не выдерживали ужаса *такой* потери. Во всѣхъ такихъ случаяхъ общество, несомнѣнно, казнить невиннаго вмѣстѣ съ виновнымъ¹⁾».

Вотъ бытовая картинка въ современномъ вкусѣ, которую г-нъ А. П. нарисовалъ съ натуры въ газетѣ «Рѣчь». Автору случилось 3—4-го января 1909 года ѣхать съ вечернимъ поѣздомъ изъ Ставрополя Кавказскаго. Ъхали, какъ обыкновенно ѣздить въ вагонахъ III-го класса, и разговоры шли обычные. На первой остановкѣ въ то отдѣленіе, гдѣ помѣщался авторъ, вошелъ мужчина въ опрятномъ костюмѣ, который на Кавказѣ носитъ названіе «хохлацкаго» и всегда выдаетъ переселенцевъ изъ малорусскихъ губерній. Ничего особеннаго на первый взглядъ въ этомъ переселенцѣ никто изъ пассажировъ не замѣтилъ. Фигура тоже бытовая, обычная и ее тотчасъ-же, по обыкновенію, пріобщили къ обычному вагонному разговору: Кто? Откуда? Куда? По какому дѣлу? Торговля? Покупка или продажа? Хлѣба, скота, яицъ или масла?

Оказалось, что ѣдетъ онъ въ Таврію и дѣла у него не торговые . . . А какія?

¹⁾ «Наша Газета», № 53, 5 марта 1909 г.

— Да такъ . . . несчастье маленькое вышло . . .

Что-жъ. И это дѣло обычное. «Со всякимъ человѣкомъ случаются несчастія». «Безъ этого невозможно. Дѣло житейское.»

— Боленъ кто-нибудь? . .

— Никто и не боленъ . . . *Сына повѣсили.*

Всѣхъ поразилъ спокойный, повидимому, тонъ этого отвѣта. Извѣстіе было неожиданное и не совсѣмъ обычное. Къ такому «бытовому явленію» даже наша російская публика еще не совсѣмъ притерпѣлась, какъ къ обычному предмету вагоннаго разговора . . . Кое-кто, можетъ быть, сразу и не повѣрилъ. Но «спокойный» незнакомецъ вынулъ изъ кармана «документы», и г-нъ А. П. прочиталъ ихъ. Документовъ этихъ было два. Первый гласилъ:

«Здравствуйте, дорогіе родители, дорогіе папа и мама и дорогіе братья и сестры. Я въ настоящее время сижу въ одиночкѣ въ послѣднюю минуту повели меня. Насъ на казнь 5 человѣкъ Котеля, Воскобъ (ойникова), Лавренова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется кто былъ я и умру не первый и не послѣдній. Превели меня въ темную такъ называем. одиночку такъ что я писать не вижу, ни буквы ни линеекъ, которые находятся на этой бумагѣ. Дорогіе папочка и мамочка и дорогіе братики и сестрички читай(те) это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и силъ и такъ слабы прошу не плачьте. А гордитесь своимъ сыномъ я умираю гордо и смѣло смотрю смерт(и) въ глаза я нисколько не боюсь ея я очень радъ что кончено мое

мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часовъ у 12 или въ часъ я очень веселъ, этимъ я горжусь, что умеръ не трусомъ. Это послѣднее прощальное письмо. Цѣлую Васъ папу, маму, васю, ваню, катю, маню, варю. Прощайте, прощайте Коля Котель.»

Другой документъ было письмо защитника въ чисто дѣловомъ тонѣ:

«Милостивый Государь. Сынъ Вашъ былъ осужденъ судомъ къ смертной казни, причемъ судъ постановилъ ходатайствовать передъ Каульбарсомъ о замѣнѣ смертной казни каторгой. Сегодня въ тюрьмѣ случайно узналъ о томъ, что Каульбарсъ не уважилъ просьбы, и смертный приговоръ приведенъ вчера въ исполненіе. Присяжный повѣренный В. Гальковъ.»

Читатель легко представить себѣ «вагонъ III-го класса» послѣ оглашенія этихъ документовъ. Поездъ несется по русской равнинѣ, громяхая и лязгая цѣпями, свѣтя въ темноту ночи своими окнами. Въ одномъ вагонѣ III-го класса все притихло. Кто не спитъ, слушаетъ чтеніе документовъ и (теперь уже не совсѣмъ спокойныя) рѣчи «переселенца» въ хохлацкомъ костюмѣ.

— Лучше-бы меня повѣсили,—такъ передаетъ г-нъ А. П. общее содержаніе этихъ рѣчей—чѣмъ его, молодого, въ расцвѣтѣ силъ. Добрый былъ. Ласковый. Никому зла не сдѣлалъ. Ну, хоть бы въ каторгу послали, все-таки былъ-бы живъ . . . Расти . . . радовались . . . Мать пропадаетъ отъ

горя, у меня точно сердце изъ груди вынули . . .
Пусто . . .¹⁾).

Въ публикѣ слушаютъ, качаютъ головами. Теперь передъ глазами этихъ людей уже не экспроприаторъ и не революціонеръ, а отецъ, такой же, какъ и всѣ эти отцы, у которыхъ тоже есть дѣти. И они тоже разошлись по бѣлому свѣту въ ученіе, на заработки, на службу . . . Кто ихъ знаетъ. Изъ семьи тоже уходили добрые, любящіе, ласковые. Писали письма: «дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вамъ съ любовію низкой поклонъ» . . . И вдругъ вотъ также внезапно напишутъ: «сижу въ одиночкѣ. Черезъ полчаса повѣсятъ». А защитникъ прибавитъ: «судъ ходатайствовалъ, но Каульбарсъ не уважилъ». И мать станетъ пропадать отъ горя, у отца вынуть сердце. За что? Они-ли виноваты, что всюду внѣ ихъ семьи свирѣпствуетъ эпидемія «волненій и разстройствъ», вызванная между прочимъ и тѣмъ, что современный строй уже «не удовлетворяетъ стремленіямъ общества къ правовому порядку» . . . Почему же за это такъ тяжело приходится расплачиваться матерямъ и отцамъ? Развѣ «отстала» одна только семья, а не государство? . .

И почему генераль Каульбарсъ казнилъ Колю Котеля, когда даже судъ передъ нимъ ходатайствовалъ о смягченіи его участи? Кто этотъ генераль, такой строгій и непреклонный? Кто-нибудь, даже и въ вагонѣ III-го класса, пожалуй, знаетъ кое-что

¹⁾ «Рѣчь».—Займствовано «Нашей Газетой» 28 марта 1909, «Кіевск. Вѣстями» 2 апр. 1909 и др.

про этого доблестнаго генерала. О немъ много писали и продолжаютъ писать. Напримѣръ: «Генераль-адъютантъ А. И. Куропаткинъ, останавливаясь на причинахъ нашихъ неудачъ въ минувшую войну, говорить: «Указать хоть на то, что командующій второй арміей ген. Каульбарсъ не исполнилъ приказаній главнокомандующаго, чѣмъ много способствовалъ японцамъ въ обходномъ движеніи. Получивъ войска и приказаніе наступать, онъ отступалъ; вмѣсто того, чтобы идти вправо, шелъ влѣво и т. п.» . . . «Военный совѣтъ нашелъ дѣйствія генерала Каульбарса неправильными, установилъ факты неисполненія приказаній главнокомандующаго и рѣшилъ предать генерала Каульбарса . . . военному суду. Судъ, по Высочайшей милости, не состоялся¹⁾.»

Неужели это тотъ самый? . . Да, тотъ самый. Онъ пощадилъ японцевъ отъ своей грозной атаки и даже «много способствовалъ непріятельскому обходному движенію». Почему же теперь онъ такъ безпощаденъ къ «Колѣ Котелю», его отцу и матери? Самому ему грозилъ военный судъ. Онъ избѣгъ его только благодаря милости . . . Почему же теперь самъ онъ такъ немилостивъ, что отвергъ даже ходатайство суда? . .

А русскій поѣздъ все дальше мчится русскою степью, унося съ собой этотъ клочекъ ужасной русской современности «послѣ-конституціоннаго пе-

¹⁾ «Петербургская Газета». Заимствовано «Рѣчью» (7-го дек. 1909 г., № 336) и почти всѣми газетами.

ріода» . . . И на каждой маленькой станціи кусочекъ «бытоваго явленія» отщепляется отъ громахающаго поѣзда и какой-нибудь изъ слушателей «спокойнаго разсказа» пробирается проселкомъ въ село, или въ деревню, или въ городское предмѣстье, въ крестьянскую лачугу или въ рабочую казарму. Что онъ несетъ туда? Какія впечатлѣнія, какія чувства, какія мысли? Уваженіе къ силѣ власти? Страхъ передъ нею? . . . Передъ генераломъ Каульбарсомъ, тѣмъ самымъ, который? . . . Или, можетъ быть, щемящее сочувствіе къ горю отца и матери, къ сотнямъ и даже тысячамъ отцовъ и матерей, постигаемыхъ этой доблестной генеральской безпощадностью? Или, чего добраго, сочувствіе къ невѣдомому юношѣ, написавшему передъ смертью:

«Умру не первый и не послѣдній. Не плачьте, а гордитесь своимъ сыномъ. Умираю гордо, смѣло гляжу въ глаза смерти» . . .

Трудно угадать, кто и что именно вынесъ съ собой изъ этого вагона и отъ этого разсказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорятъ, уже успокоилась, но въ которой, подъ конституціонныя рѣчи, все еще не хочетъ успокоиться висѣлица . . . Вѣдь, и этотъ случайно встрѣченный господиномъ А. П. пассажиръ въ костюмѣ кавказскаго переселенца казался тоже спокойнымъ. Но все-таки онъ хранитъ на груди свои «документы» и готовъ предъявить ихъ по первому запросу . . .

Когда, при какихъ обстоятельствахъ, въ какую

инстанцію онъ ихъ предъявить? . . Кто знаетъ. Будущее темно. Русскій поѣздъ мчится въ темнотѣ дальше и дальше по старымъ, износившимся рельсамъ . . .

IX.

Какъ это дѣлается?

Прежде, еще не такъ давно, это дѣлалось иначе, чѣмъ теперь.

До послѣдняго времени, до періода «обновленія» казнь была явленіемъ исключительнымъ, необычнымъ. Она волновала, потрясала, пугала человѣческую совѣсть. Въ ней чувствовался ужасъ, надъ ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.

Можно было бы привести много примѣровъ. Мы удовольствуемся однимъ. Въ благонамѣренномъ «Историческомъ Вѣстникѣ» (за апрѣль 1909 года) были помѣщены воспоминанія г-на Георгія Черенкова, рисующія картину казни пяти солдатъ дисциплинарнаго баталіона. Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстно, что такое дисциплинарные баталіоны. Они были ужасны въ «николаевскія времена», быть можетъ, еще ужаснѣе теперь. Доведенные до отчаянія преслѣдованіями унтеръ-офицеровъ, эти пятеро солдатъ ихъ убили. Военный судъ приговорилъ ихъ къ казни. Авторъ описываетъ, какъ очевидецъ, самую картину казни, и мы приводимъ это описаніе *in extenso*.

Ночь передъ экзекуціей остальные штрафные солдаты провели безъ сна. Еще съ вечера, когда всѣхъ заперли на ночной отдыхъ, въ окна, выходившія на плацъ, были замѣтны какія-то приготовленія. Бѣгали люди съ заступами и фонарями . . . Всѣ поняли, что они дѣлають . . .

Еще не разсѣялся предразсвѣтный мракъ, какъ на плацъ стали выводить войска. Ихъ разставили въ нѣсколько рядовъ вокругъ плаца по стѣнамъ ограды. Вслѣдъ за ними вывели изъ казармъ и штрафныхъ и расположили покоемъ. У открытой стороны этого покоя, впереди, шаговъ на двадцать, стояли въ одну линію пять столбовъ. Появилось начальство,—сначала свое, потомъ пріѣзжее,—губернскій воинскій начальникъ, военный прокуроръ и еще кто-то. Кругомъ царила тишина ранняго утра.

Но вотъ раздался шумъ многихъ шаговъ и странный звонъ желѣза. Слѣва въ распахнувшіеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированнымъ кольцомъ. Въ серединѣ этого кольца виднѣлось нѣсколько закованныхъ фигуръ. Впереди, съ крестомъ въ рукахъ, шелъ баталіонный священникъ Іаковъ Стефановскій. Онъ шелъ быстро, почти бѣжалъ, боязливо озираясь назадъ, какъ бы стараясь уйти отъ того страшнаго, что гремѣло назади.

Въ воздухѣ пронеслась команда:

— Къ эк-зе-куціи!

Загремѣли барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышалъ удары сердца своего сосѣда.

Отъ группы властей отдѣлился военный приставъ съ бумагой въ рукахъ. Нервнымъ шагомъ онъ вышелъ на середину и сталъ лицомъ къ осужденнымъ. Бой барабановъ умолкъ.

— По указу Его Императорскаго Величества,—громко и торжественно началъ прокуроръ, а затѣмъ продолжалъ чтеніе, закрывъ бумагой свое лицо отъ осужденныхъ.

— На-путствіе! Расковать,—крикнулъ командовавшій *смертнымъ* парадомъ Масалитиновъ.

Къ осужденнымъ подбѣжали кадровые и разомкнули ручныя оковы. Появился кузнецъ съ наковальней и молотомъ. Нетвердой рукой медленно онъ разбивалъ ножныя желѣза. Потомъ подошелъ трепещущій священникъ и началъ предсмертное напутствіе.

А сзади, у столбовъ уже мелькали, развертываясь, бѣлые саваны . . . Вправо въ стѣнѣ ограды тихо открылись черныя ворота, выходившія въ степь, въ сторону кладбища, и въ нихъ вѣзжали, громыхая, дроги съ огромнымъ чернымъ ящикомъ.

— Проститься!—крикнулъ командующій «смертнымъ парадомъ».

Чуринъ (одинъ изъ осужденныхъ) вострепнулся. Онъ повернулся на сѣверъ и, простирая руки въ пространство, крикнулъ:

— Прости, сѣверъ!

И, соотвѣтственно поворачиваясь, продолжалъ:

— Прости, югъ! Прости, востокъ! Прости, западъ!

Тѣмъ временемъ другіе осужденные что-то невнятно говорили къ народу. Повернулся къ толпѣ и Чуринъ. Не опуская рукъ, онъ закричалъ своимъ могучимъ голосомъ:

— Простите, братцы! За васъ погибаемъ!

Раздался страшный крикъ:

— Эх-зе-куція!

Грохоть десятка барабановъ наполнилъ воздухъ, землю и небо.

Мы не выписываемъ дальнѣйшей процедуры вплоть до того момента, когда загремѣлъ залпъ, послѣ котораго три фигуры у столбовъ упали. Двѣ продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренныхъ помилованы, и ихъ заставили только психологически пережить ужасный моментъ казни. «Къ нимъ подходилъ, весь въ слезахъ, докторъ . . . Всѣ облегченно вздохнули.»

Это было въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ. Россія, въ которой казнъ давно якобы отмѣнена закономъ, въ это время пережила все-таки не мало казней, даже надъ женщинами. Но *бытовымъ явленіемъ* казнъ еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характеръ мрачнаго «смертнаго парада». Моментъ разставанія съ жизнію хотя бы и преступниковъ признавался еще чѣмъ-то торжественнымъ и священнымъ. Чуринъ на глазахъ тысячной толпы прощается съ сѣверомъ и югомъ, западомъ и востокомъ, прощается съ товарищами, за которыхъ отдалъ свою жизнь. Священникъ дрожить, прокуроръ закрываетъ лицо бумагой, въ

«страшномъ крикѣ» командующаго чувствуется «содроганіе челоуѣческаго сердца, докторъ подходитъ къ столбамъ весь въ слезахъ. Надъ всѣмъ витаешь сознаніе торжественности, живое ощущеніе ужаса и отвѣтственности.

Въ наши времена казнь вульгаризировалась. Съ нея сорванъ этотъ покровъ мистическаго ужаса. Да и могъ ли онъ уцѣлѣть, когда суды выносятъ сразу по 30 смертныхъ приговоровъ, когда казнь назначается «за нападеніе, сопровождавшееся только похищеніемъ четырехъ рублей, пары башмаковъ и колець», какъ это было совсѣмъ недавно въ Севастополѣ¹⁾, или за «ограбленіе 15 р., безъ всякихъ убійствъ или даже пораненій», какъ это случилось въ прошломъ году въ Уфѣ²⁾. Такихъ примѣровъ можно бы привести десятки. По мѣрѣ того, какъ «бытовое явленіе» ширится, сознаніе исполнителей тупѣетъ. Казнь становится вмѣсто «смертнаго парада» простымъ и будничнымъ дѣломъ. Людей начинаютъ вѣшать походя, кое-какъ, безъ ритуала, даже просто безъ достаточныхъ приготовленій. 13—14-го декабря 1908 года въ городѣ Уральскѣ, по приговору военно-полевого суда, совершена казнь надъ Лапинымъ, обвиненнымъ въ убійствѣ генерала Хорошкина. Палачъ, нанятый для этого случая за 50 рублей, былъ въ маскѣ. Заплатили ему довольно дешево, вѣроятно, потому, что это былъ еще новичекъ въ своемъ дѣлѣ. Приготовленная веревка ока-

1) Р. Вѣд., № 55, 9 марта 1910.

2) «Кіевскія Вѣсти», 27 іюня 1909, № 169.

залась негодной; послали за другой, принесли опять черезчуръ толстую. Пришлось розыскивать третью. (Гдѣ? Можетъ быть, бѣгали по смотрительскимъ чердакамъ?). Все это происходило въ присутствіи осужденнаго. Неопытность дешеваго палача вынудила осужденнаго помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку . . . При этомъ во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждалъ, что въ убійствѣ Хорошкина онъ не виновен¹⁾.

Въ одной изъ южныхъ губерній товарищъ прокурора подаль характерный протестъ: явившись для присутствія при казни приговореннаго къ висѣлицѣ, онъ засталъ другую процедуру: за неимѣніемъ палача, обвиненнаго разстрѣляли²⁾, находя, очевидно, что «не все ли равно». Былъ бы человекъ убить, а какъ именно—это въ значительной степени предоставляется усмотрѣнію и инициативѣ исполнителей. 26 ноября 1908 года въ газетѣ «Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на разсвѣтѣ во дворѣ четвертой части по приговору военного суда повѣшены: Аристофиди, *Котель*, Воскобойниковъ, Лавроновъ и Киненко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упалъ на землю, испустивъ страшный крикъ. Палачъ, желая прекратить этотъ крикъ, *наступилъ ему на горло ногой*. Издѣвательства палача надъ Котелемъ и другими осужденными прекращены товарищемъ прокурора³⁾».

1) «Рѣчь», «Кіевскія Вѣсти», янв. 1909.

2) «Новая Русь», 14 дек. 1908 г., № 121.

3) «Новая Русь», 26 ноября 1908 г., № 103.

Если знакомый уже намъ «кавказскій переселенецъ», котораго г-нъ А. П. встрѣтилъ въ ставропольскомъ поѣздѣ, читалъ эту телеграмму, то, навѣрное, онъ присоединилъ ее къ тѣмъ «документамъ», которые онъ носитъ съ собой на груди. Потому что этотъ Котель—тотъ самый «Коля», письмо котораго онъ показывалъ пассажирамъ, тотъ самый, о смягченіи участи котораго судъ ходатайствовалъ передъ непреклоннымъ генераломъ Каульбарсомъ. Вотъ какъ она была «смягчена» въ дѣйствительности . . .

Впрочемъ, пусть это только «исключеніе». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый разъ обрываются веревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскиваютъ по чердакамъ, и не каждую жертву вмѣсто одного раза казнятъ двойными казнями . . . «опытныхъ» палачей, имѣвшихъ много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьмѣ происходятъ и тѣ ужасающія звѣрства надъ казнимыми, которыя такими потрясающими чертами обрисованы б. депутатомъ Ломтатидзе въ его письмѣ, адресованномъ въ соц.-демократическую фракцію третьей Думы. Я избавлю читателя отъ новаго воспроизведенія этой картины, которая предназначалась для думскаго запроса и обошла въ прошломъ году всѣ газеты . . . Обратимся отъ исключеній къ общему правилу и посмотримъ, какъ это дѣлается *обычно*, въ средней, такъ сказать, бытовой обстановкѣ.

Совеѣмъ недавно къ депутату Гегечкори обратился

Рудольфъ Глазко, томящійся въ рижской тюрьмѣ уже *нѣсколько лѣтъ* безъ суда и слѣдствія. Онъ умоляетъ добиться для него суда, который такъ или иначе долженъ прекратить его физическія и нравственныя истязанія. Какъ и Ломтатидзе, самыми тяжкими изъ нихъ онъ считаетъ сосѣдство «смертниковъ». «Посадили—пишетъ онъ—въ одиночную, рядомъ съ камерой «смертниковъ». По ночамъ не спалъ. Въ стѣнку торопливо стучать «смертники» . . . Въ ранніе утренніе часы по корридору раздается звяканье шпоръ, шорохъ . . . душу раздирающій крикъ: «прощайте, товарищи» . . . На дворѣ погашаютъ фонари. Смертныхъ ведутъ на казнь¹⁾»

Это картина, данная въ самыхъ широкихъ и общихъ чертахъ, составляетъ фонъ, на которомъ другіе доступные намъ источники выводятъ детальныя «бытовые» узоры. Мнѣ лично была доставлена слѣдующая копія съ письма заключеннаго къ сестрѣ или невѣстѣ, въ которомъ описываются впечатлѣнія тюремнаго населенія (т. е. сотенъ людей!!) во время казней.

«Дорогая NN . . . Не знаю, дойдетъ ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычнымъ путемъ, да еще и безъ марки . . . Опишу тебѣ подробно казнь четырехъ нашихъ товарищей въ ночь съ 5-го на 6 ноября. Вечеромъ, 5-го, къ намъ въ камеру заходилъ начальникъ тюрьмы и увѣрялъ насъ въ томъ, что приговоренные къ смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальнику почти

¹⁾ Цитирую по «Вятской Рѣчи», 8 марта 1910, № 52.

повѣрили, тѣмъ болѣе потому, что передъ этимъ приговоренные подавали прошеніе на имя главнокомандующаго московскимъ военнымъ округомъ и очень могло быть, что главнокомандующій замѣнилъ имъ смертную казнь безсрочной каторгой. На дѣлѣ оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Онъ зналъ, конечно, что въ эту ночь должна была произойти казнь, и старался насъ успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда ихъ начали вѣшать, такъ что не могли даже проститься со своими родными. Но нѣкоторые изъ насъ не повѣрили начальнику и рѣшили ночь не спать. Я заснулъ часовъ въ 12 ночи, и ничего не было замѣтно. Часа въ три ночи просыпаюсь и слышу крики: «повели!» Бужу всѣхъ товарищей и подбѣгаю къ «волчку». Вижу, что въ корридорѣ стоятъ солдаты (обыкновенно ихъ не бываетъ). Потомъ послышался лязгъ кандаловъ и шарканье многихъ ногъ по асфальтовому полу корридора. Черезъ нѣсколько времени мимо «волчка» промелькнули фигуры солдатъ. Среди нихъ шли 4 осужденныхъ. Осужденные шли въ однихъ рубахахъ, безъ верхняго теплаго платья. Ихъ взяли прямо съ постелей, не давъ одѣться въ теплое платье, Лязгъ кандаловъ, шарканье ногъ по полу, сдержанный шопотъ надзирателей,—все это покрывали громкія рыданія. Плакалъ одинъ изъ приговоренныхъ, Сурковъ, молодой парень лѣтъ 20. Осужденныхъ вывели на дворъ и расковали тамъ, а потомъ повели къ мѣсту, гдѣ они должны быть повѣшены.

На дворѣ была морозная ночь. Дулъ холодный вѣтеръ. Вокругъ всѣхъ стѣнъ съ внутренней стороны были разставлены солдаты, а съ наружной казаки. Мѣсто для вѣшанія выбрали такое, что оно не видно было изъ оконъ камеръ. Висѣлицы не было никакой, роль ея исполняла *простая пожарная лѣстница*, приставленная къ стѣнѣ тюрьмы. Осужденныхъ привели, поставили, прочли имъ приговоръ и предложили имъ причаститься и исповѣдаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурковъ продолжалъ рыдать; другіе трое его успокаивали, какъ могли. Одинъ изъ осужденныхъ Ножинъ, не смотря на свой возрастъ (17 лѣтъ), держался замѣчательно спокойно. Ну-съ, потомъ начали вѣшать. Вѣшали по одному, а другіе осужденные должны были ждать, пока тотъ совсѣмъ оконченъ. Говорятъ, что палачами были двое надзирателей изъ нашей тюрьмы. Для того, чтобы ихъ не узнали, имъ надѣли маски. Впрочемъ, навѣрное еще неизвѣстно, кто былъ палачами» . . .

. . . «Намъ не видно было, какъ происходила казнь, и потому мы, отъ нечего дѣлать, костили офицеровъ, которые стояли съ солдатами вокругъ стѣны» . . . «Одного изъ товарищей пришлось стаскивать съ окна, потому что офицеръ уже направилъ на него револьверъ. По окончаніи казни повѣшенныхъ свалили на телѣгу и увезли изъ тюрьмы. Казнь сильно подѣйствовала на всѣхъ товарищей. Раздался изъ одной камеры похоронный маршъ и черезъ нѣкоторое время всѣ пѣли. Мы не

сговаривались, а вышло это такъ какъ-то, само собой. Когда началось пѣніе, влетѣлъ начальникъ и потребовалъ, чтобы мы прекратили пѣніе, грозился облить водой, перестрѣлять . . . Когда онъ ушелъ, пѣніе все-таки продолжалось. Повѣшенныхъ всѣхъ четыре. Изъ нихъ Шишаковъ 26 лѣтъ, Сурковъ 19-ти или 20-ти, Ножинъ 17-ти¹⁾, Трущелевъ 29 лѣтъ».

Я замѣнилъ въ этомъ описаніи многоточіями ужасающія подробности, которыхъ авторъ самъ не видѣлъ и которыя могли-бы и эту чисто «бытовую» картину превратить въ одно изъ отвратительныхъ исключеній. Дѣйствительность теперь часто становится неправдоподобнѣе самаго кошмарнаго вымысла. Но мнѣ кажется, что настоящій ужасъ все-таки не въ этихъ примѣрахъ крайняго одичанія исполнителей. Онъ не въ исключеніяхъ, а въ общемъ правилѣ, въ среднихъ условіяхъ, окружающихъ ужасное дѣло. Тотъ самый корреспондентъ, который изъ-за стѣнъ тюрьмы доставилъ мнѣ большую часть фактическаго матеріала этой статьи, пишетъ о послѣднемъ актѣ «смертнической трагедіи». Опять та же знакомая картина, съ ничтожными варіаціями:

. . . «Гремятъ замки, слышится лязгъ засововъ и черезъ нѣсколько минутъ по корридорамъ несутся

¹⁾ Въ засѣданіи Госуд. Думы 19 іюля 1906 года министръ юстиціи г. Щегловитовъ говорилъ: «Въ уложеніи 1903 года, которое съ 17 іюня 1904 г. составляетъ законъ . . . обращаетъ на себя вниманіе установленная замѣна для всѣхъ несовершеннолѣтнихъ смертной казни другими наказаніями» (См. стенографич. отчеты).

уже прощальные крики. Это «смертные» шлють свой прощальный привѣтъ другимъ «смертнымъ». Ихъ ведутъ по двое или по трое мимо камеръ, биткомъ набитыхъ уголовными, грязныхъ, смрадныхъ и безмолвныхъ. Никто въ это время не долженъ подниматься съ постели и никто не долженъ подходить къ «волчку». Заключенный, замѣченный въ нарушеніи этихъ требованій, а тѣмъ болѣе крикнувшій этимъ осужденнымъ послѣднее «прости», наказывается продолжительнымъ темнымъ, страшно холоднымъ карцеромъ. Осужденныхъ проводятъ въ контору, и толпа надзирателей нерѣдко возвращается обратно за новыми жертвами. Обыкновенно въ одну ночь не вѣшаютъ болѣе шести чело-вѣкъ. Въ конторѣ прокурорская власть читаетъ имъ приговоръ о казни черезъ повѣшеніе, и берутъ съ нихъ подписку въ прочтеніи бумаги (!!) Послѣ этого священникъ предлагаетъ свои услуги осужденнымъ. Затѣмъ они пишутъ свои послѣднія письма и идутъ къ мѣсту казни на тюремномъ дворѣ.

«Мы не будемъ описывать самого процесса казни», — говоритъ нашъ авторъ, и въ заключеніе приводитъ слѣдующее замѣчательное письмо «очевидца», каждое слово котораго есть непосредственное впечатлѣніе и отъ cadaго слова вѣетъ эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью.

«Я спалъ очень крѣпко. Но при первыхъ крикахъ, несущихся откуда-то издалека, я проснулся и, еще не сознавая отчетливо, что значать эти крики, какъ-то сразу понялъ, что опять началось то ужасное,

что тяжелым кошмаром висѣло надъ нами уже нѣсколько ночей. Каждый вечеръ мы ожидали наступленія этого ужаснаго и когда оно началось, то всѣмъ намъ показалось невѣроятнымъ, что безумное дѣло готово свершиться у всѣхъ передъ глазами. Но крики, ужасные, рыдающіе крики неслись въ звонкой тишинѣ, и у меня вдругъ появилась сумасшедшая увѣренность, что кричатъ *они*, уже сгибшіе въ прошлый разъ, что каждую ночь будутъ проходить они по гулкому корридору, приходить и кричать намъ и всѣмъ тѣмъ, кто спитъ спокойно тамъ, въ холодномъ равнодушномъ городѣ, за тюремными стѣнами, о наступившемъ ужасѣ.»

«За дверью камеры слышался топотъ ногъ, смутный говоръ, непонятная возня, и вдругъ чей-то рѣзкій надтреснутый голосъ отчетливо крикнулъ:— «Дай ему! Дай ему! Что ореть!» И затѣмъ крики смолкли и гдѣ-то внизу стукнула дверь. Я подбѣжалъ къ окну. Въ камерахъ зимнія рамы еще не вставлены и замерзшія окна мертвенно смотрятъ въ нашу камеру. Но кусочекъ стекла у самого подоконника остался незамерзшимъ, и я по прежнему припалъ къ подоконнику и сталъ смотрѣть на освѣщенный дворъ. Еще разъ стукнула гдѣ-то дверь и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась безконечной, и я уже готовъ былъ подумать, что они прошли гдѣ-то другими дверями на роковой дворикъ, но на освѣщенномъ элекрической лампочкой дворѣ сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла къ калиткѣ и, странно размахивая руками, среди одѣ-

тыхъ въ черное надзирателей, быстро шель по двору одѣтый въ арестантскую куртку «смертный». Отчетливо неслись по двору изъ толпы опять два голоса,—одинъ сильный и звонкій, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая другъ друга, въ морозномъ воздухѣ повисли одни и тѣ же слова:— «Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи». — Калитка открылась, «смертные» вошли туда, толпа надзирателей стала таять, дворъ опустѣлъ и только три черныя фигуры, странно качнувшись, быстро бросились обратно въ главный корпусъ. Кончилось или нѣтъ? Я подошелъ къ волчку и сталъ слушать. По прежнему изъ всѣхъ камеръ неся глухой, сдержанный говоръ и кашель простуженныхъ людей . . .

«На площадкѣ, мимо которой проводятъ «смертныхъ», слышались голоса возвратившихся отъ калитки надзирателей. Въ камеру доносились обрывки фразъ, отдѣльные слова, но по нимъ можно было догадаться, что рѣчь идетъ о только что совершившемся.—«И чего только канителяются?—Заговорилъ кто-то нѣсколько громче. — Два человѣка! Ужъ сразу бы всѣхъ.» — Голосъ смолкъ, и кто-то другой заговорилъ пониженнымъ голосомъ, а потомъ заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое слово грубой, циничной бранью:—«Возьми, говорить, зажми ему ротъ, а не понимаетъ, что онъ палецъ откусить.» — «Нѣтъ, чудно, — заговорилъ опять первый голосъ: — первый идетъ рѣзво, а второй-то, второй-то . . . Умора! Какъ котенокъ

слѣпой . . . Суется туда сюда . . . Ужъ лучше-бы (сразу?) накинуть ему на шею петлю. А то какъ есть слѣпой котенокъ» . . .

«И, должно быть, говорившему сравненіе показалось удачнымъ. Онъ повторилъ его еще разъ, а потомъ засмѣялся. И было столько безсмыслицы и непонятной жестокости въ этомъ смѣхѣ, что у меня сразу поднялась въ сердцѣ острая боль, и я уже не могъ больше слушать и отошелъ отъ «волчка» . . . — «Нужно сходить, спросить, — слышался опять голосъ, — пусть разрѣшаютъ: пора и спать». — Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этотъ разъ. Кончилось затѣмъ, чтобы въ одну изъ слѣдующихъ ночей тюремный корридоръ вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоитъ еще много (такихъ?) ночей, то становится непонятнымъ, какъ это тамъ, въ этомъ холодномъ равнодушномъ городѣ, люди, считающіе себя умными и заслуживающими уваженія, продолжаютъ спокойно спать и позорно молчать!» . . .

.
Въ 1853 году на островѣ Гернси въ Ламаншѣ человекъ по имени Джонъ-Шарль Тапнеръ явился ночью къ женщинѣ и убилъ ее. Затѣмъ онъ ее ограбилъ и поджегъ домъ. Разслѣдованіе этого дѣла бросило ужасный свѣтъ на нѣсколько другихъ преступленій, въ которыхъ можно было подозрѣвать ту же руку.

Тапнера судили. «Его судили съ безпристрастіемъ — писалъ по этому поводу Викторъ Гюго, жившій на

этомъ островѣ въ качествѣ политическаго изгнанника, —судили съ добросовѣстностью, которая дѣлаетъ честь свободному и безпристрастному суду. Тринадцатъ засѣданій были посвящены разсмотрѣнію факта. Третьяго января 1854 года рѣшеніе состоялось единогласно и въ 9 часовъ вечера, въ публичномъ и торжественномъ засѣданіи предсѣдатель суда, судья Гернси, объявилъ подсудимому разбитымъ и прерывающимся, дрожащимъ отъ волненія голосомъ, что «такъ какъ законъ наказываетъ убійцу смертью, то онъ, Джонъ-Шарль Тапнеръ, долженъ приготовиться къ смерти, что онъ будетъ повѣшенъ 27 января на мѣстѣ своего преступленія. Тамъ, гдѣ онъ убилъ, онъ будетъ убитъ.»

Викторъ Гюго обратился къ жителямъ острова съ письмомъ, въ которомъ, нисколько не смягчая отвратительнаго преступленія Тапнера, предостерегалъ ихъ противъ преступленія общественнаго. «Въ эту минуту,—писалъ онъ—среди васъ, жителей этого архипелага, находится человѣкъ, который въ этомъ будущемъ, невѣдомомъ для всѣхъ людей, ясно различаетъ свой послѣдній часъ . . . Когда всѣ мы дышемъ свободно, говоримъ и улыбаемся,—въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ въ тюрьмѣ находится дрожащій человѣкъ, который живетъ со взоромъ, устремленнымъ на одинъ день этого мѣсяца, на день 27 января, на этотъ призракъ, который все приближается къ нему. Этотъ день, для насъ всѣхъ скрытый, какъ и всѣ другіе,—передъ нимъ уже обнаруживаетъ свое лицо . . . мрачное лицо смерти.»

Онъ убійца . . . Да . . . «Но—продолжаетъ Гюго—какое мнѣ дѣло до этого? Для меня, для всѣхъ насъ этотъ убійца болѣе не убійца, этотъ поджигатель болѣе не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защищать. Жители Гернси! Не дайте висѣлицѣ бросить тѣнь на вашъ чудный островъ . . . Не примите на себя страшной отвѣтственности захвата божественнаго права человѣческимъ правомъ. Кто знаетъ? Кто проникъ въ загадку? Есть бездны въ человѣческихъ поступкахъ, какъ есть бездны въ волнахъ. Вспомните о дняхъ бурь, о зимнихъ ночахъ, о темныхъ и разъяренныхъ силахъ природы, которыя овладѣваютъ вами въ иныя минуты . . . Не допустите, чтобы въ ваши паруса дулъ вѣтеръ съ могилъ. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отдѣляетъ васъ самихъ отъ вѣчности . . . что и вы всегда находитесь лицомъ къ лицу съ безконечнымъ, съ невѣдомымъ. Развѣ вы не будете думать съ содроганіемъ, что вѣтеръ, который будетъ свистѣть въ вашихъ снастяхъ, встрѣтилъ на своемъ пути эту веревку и этотъ трупъ?» . . . «. . . Ваши свободныя учрежденія отдають въ ваше распоряженіе всѣ средства для того, чтобы выполнить этотъ священный, этотъ религіозный подвигъ. Соберитесь законнымъ порядкомъ. Взволнуйте общественное мнѣніе и совѣсть . . . Жены должны убѣждать мужей, дѣти должны умолять отцовъ, мужчины должны составлять прошенія и петиціи. Обратитесь къ вашимъ правителямъ и судьямъ.

Требуйте отсрочки, требуйте смягченія правосудія. Спѣшите, не теряйте ни одного дня!»

Это было 56 лѣтъ назадъ, по поводу предстоявшей казни *одного* человѣка, послѣ судебного разбирательства, длившагося тринадцать дней, со всѣми гарантіями защиты и при полнѣйшей очевидности факта. Сердца моряковъ и матросовъ откликнулись на благородный призывъ французскаго изгнанника, и островъ рыбаковъ закипѣлъ петиціями, собраніями и протестами противъ казни . . .

Что сказалъ бы теперь великій поэтъ и гуманистъ, если бы дожилъ до нашего русскаго «обновленія» и увидѣлъ цѣлую страну, гдѣ не одинъ человѣкъ, а *сотни и тысячи* «живутъ со взглядами, устремленными на свой послѣдній день, въ то время, какъ другіе дышутъ свободно, разговариваютъ, смѣются»... Гдѣ чуть не каждую ночь въ теченіе нѣсколькихъ уже лѣтъ происходятъ казни . . . Гдѣ предъутренній вѣтеръ то и дѣло встрѣчаетъ на своемъ пути висѣлицы, веревки, качающіеся трупы и несетъ на поля, на деревни, на города «святой Руси» послѣдніе стоны и хрипы казнимыхъ. Гдѣ въ вагонахъ отцы рассказываютъ «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиковъ, и о непреклонности генераловъ Каульбарсовъ. Гдѣ самая казнь потеряла уже характеръ мрачнаго торжества смерти и превратилась въ «бытовое явленіе», въ прозаическіе дѣловые будни. Гдѣ не хватаетъ висѣлицъ и людей вѣшаютъ походя, ускореннымъ и упрощеннымъ порядкомъ, безъ формальностей, на пожарныхъ лѣстницахъ, при помощи

первыхъ попадающихъ подъ руку обрывающихся, гнилыхъ веревокъ . . . И потомъ такъ же наскоро зарываютъ трупы, торопливо, съ цинической небрежностью, точно въ самомъ дѣлѣ во время повальной моровой язвы . . .

Въ іюнѣ прошлаго года въ газетахъ мелькнуло коротенькое извѣстіе, не обратившее на себя особеннаго вниманія. Въ Екатеринославѣ на окраинѣ города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундаментъ, какъ тутъ-же наткнулись на трупы казненныхъ. Узнать ихъ было трудно: трупы лежали въ землѣ въ кандалахъ¹⁾.

Встаетъ старая легенда, оживаетъ мрачное суевѣріе сѣдой старины, когда «для прочности» фундаменты зданій закладывались на трупахъ . . . Не достаточно ли, не слишкомъ ли много труповъ положено уже въ основаніе «обновляющейся» Россіи? «Кто знаетъ, кто проникъ въ загадку?»—скажемъ мы вмѣстѣ съ великимъ французскимъ поэтомъ. Есть бездны въ общественныхъ движеніяхъ, какъ есть они въ океанѣ. Русское государство стояло уже разъ передъ грознымъ шкваломъ, поднявшимся такъ неожиданно въ странѣ, «прославленной вѣковѣчнымъ смиреніемъ.» Его удалось заворочить обѣщаніями, но «кто знаетъ, кто проникъ въ загадку» приливовъ и отливовъ таинственнаго человѣческаго океана. Кто поручится, что валъ не поднимется опять, такъ же неожиданно и еще болѣе грозно? Нужно ли, чтобы къ его стихійному грохоту прибавились хрипы

¹⁾ «Кіевскія Вѣсти», 27 іюня 1907 г., № 169.

и стоны тысячъ погибшихъ въ періодъ «успокоенія» вмѣстѣ съ стопами ихъ отцовъ, матерей и братьевъ, затаившихъ въ груди свои страшные иски?

На этомъ я пока заканчиваю данную серію очерковъ «бытового явленія». Но, конечно, на этомъ нельзя покончить съ самымъ явленіемъ. «Продолженіе» несетъ съ собою каждый наступающій день, каждая «хроника» новаго газетнаго листа, каждый новый приговоръ упрощеннаго военно-суднаго механизма. Мы не можемъ, подобно великому французскому писателю, сказать: «наши свободныя учрежденія предоставляютъ всѣ средства для борьбы въ предѣлахъ закона» съ этимъ обыденнымъ ужасомъ. Мы не можемъ «собираться въ законномъ порядкѣ», не можемъ на этихъ собраніяхъ «волновать общественное мнѣніе и совѣсть», облекать это мнѣніе въ формы «петицій для обращенія къ правителямъ и судьямъ». Тѣмъ важнѣе, скажу даже, тѣмъ священнѣе, обязанность печати хотъ напоминать о томъ, что ужасъ продолжается въ нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно въ будничное, обыденное, бытовое явленіе, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознаніе и совѣсть.

Въ заключеніе считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человѣку, который въ самомъ центрѣ этого ужаса, въ сосѣдствѣ со смертниками, имѣлъ силу и мужество собирать черта

за чертой этотъ ужасный матеріалъ и помогъ ему проникнуть за предѣлы тюремныхъ стѣнъ и роковыхъ «заднихъ дворовъ». Съ такой же благодарностью мы встрѣтимъ всякіе новые матеріалы—въ видѣ писемъ и новыхъ фактовъ, способныхъ освѣтить ужасное «бытовое явленіе». Читать это тяжело. Писать, повѣрьте, еще во много разъ тяжелѣе . . . Но вѣдь это, читатели, приходится *переживать сотнямъ людей и тысячамъ ихъ близкихъ*.

Поступили въ продажу:

Максимъ Горькій.

Жизнь ненужнаго человѣка. Романъ	4,— м.
Исповѣдь. Повѣсть	3,— "
Дачники	2,— "
Дѣти солнца	2,— "
Барбары	2,— "
Враги	2,— "
Въ Америкѣ	1,50 "
Тюрьма	1,50 "
Послѣдніе	1,50 "
Солдаты	1,— "
Букоёмовъ. Дѣвочка	—,90 "
Разск. Филиппа Вас.	—,90 "
А. П. Чеховъ	—,90 "
Человѣкъ	—,60 "
9-е января	—,60 "
Прекрасная Франція	—,50 "
Король республики	—,50 "
Жрецъ морали	—,50 "
Хозяева жизни	—,50 "
Русскій царь	—,50 "
Товарищъ!	—,50 "

Евгеній Чириковъ.

Мужики	2,— "
Мятежники	1,50 "
Легенда стараго замка	1,50 "
Евреи	1,50 "
Красные огни	1,— "
На порукахъ	1,— "
На порогъ жизни	—,60 "
„Товарищъ“	—,50 "

Семенъ Юшкевичъ.

Голодъ	2,— "
Прологъ. Романъ	2,— "
Евреи. Романъ	2,— "
Дина Гланкъ	1,50 "
Чужая	1,— "
Семья	1,— "

В. С. Морозовъ.

За одно слово	0,50 "
-------------------------	--------

Ю. Лавриновичъ.

Кто устроилъ погромы въ Россіи?	4,— м.
---	--------

о. Гр. Петровъ.

Письмо къ митрополиту Антонію	1,— "
---	-------

Леонидъ Андреевъ.

Савва (Ignis Sanat.)	2,— "
Анатѣма	2,— "
Анфиса	1,50 "
Къ звѣздамъ	1,50 "
Жизнь Человѣка	1,50 "
Царь-Голодъ	1,50 "
Иуда Искаріотъ и др.	1,50 "
Василій Бивейскій	1,50 "
Мои записки	1,50 "

Разсказъ о семи повѣшенныхъ	1,50 "
---------------------------------------	--------

Дни нашей жизни	1,50 "
---------------------------	--------

Черныя маски	1,50 "
------------------------	--------

Красный смѣхъ	1,20 "
-------------------------	--------

Губернаторъ	1,20 "
-----------------------	--------

Тьма	1,20 "
----------------	--------

Проклятіе звѣря	1,— "
---------------------------	-------

Сынъ человѣческій	1,— "
-----------------------------	-------

Такъ было	—,75 "
---------------------	--------

Христіане	—,50 "
---------------------	--------

Елеазаръ	—,50 "
--------------------	--------

Любовь къ ближнему	—,50 "
------------------------------	--------

Л. Н. Толстой.

Не могу молчать	1,— "
---------------------------	-------

Смертная казнь	1,— "
--------------------------	-------

Д. Мережковский.

Смерть Павла I.	2,— "
-------------------------	-------

Давидъ Айзманъ.

Терновый кустъ	1,50 "
--------------------------	--------

Кн. С. Д. Урусовъ.

Записки Губернатора	3,— "
-------------------------------	-------

Погромы въ Россіи	6,— "
-----------------------------	-------

Левъ Дейчъ.

Четыре побѣга	2,50 "
-------------------------	--------